

Павел Васильевич Анненков

Литературные воспоминания



Павел Васильевич Анненков

Литературные воспоминания

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9470256

Аннотация

«С самой Вены торопился я в Рим, к страстной неделе, и наконец привел свой план в исполнение! Доехав до Анконы, я предпринял оттуда довольно оригинальное путешествие, которое покажется баснословным, когда железные дороги в Италии уничтожат последний отпрыск поколения ветуринов. Я нанял в Анконе одного такого ветурина, человека уже весьма пожилого и обладателя старой кареты, в которую дуло даже из спинки ее, и двух тощих кляч. Мне привел его самегiere трактира, где я останавливался в Анконе. Мы уговорились сделать путешествие к вечному городу самым ускоренным способом, именно в одну неделю, причем попечение на прокормление меня в это время и на доставление ночлегов возложено было тоже на возницу...»

Содержание

Н.В. Гоголь в Риме летом 1841 года	4
Конец ознакомительного фрагмента.	83

П. В. Анненков

Литературные воспоминания

Н.В. Гоголь в Риме летом 1841 года

I

С самой Вены торопился я в Рим, к страстной неделе, и наконец привел свой план в исполнение! Доехав до Анконы, я предпринял оттуда довольно оригинальное путешествие, которое покажется баснословным, когда железные дороги в Италии уничтожат последний отпрыск поколения ветуринов¹. Я нанял в Анконе одного такого ветурина, человека уже весьма пожилого и обладателя старой кареты, в которую дуло даже из спинки ее, и двух тощих кляч. Мне привел его *cameriere*² трактира, где я останавливался в Анконе. Мы уговорились сделать путешествие к вечному городу самым ускоренным способом, именно в одну неделю³, причем

¹ извозчик на дальние расстояния.

² слуга (итал.)

³ 200 итальянских миль переезда или около 350 верст.

попечение на прокормление меня в это время и на доставление ночлегов возложено было тоже на возницу. Таким образом, за 12 скуд, или 60 франков, он делался в продолжение трех суток моим кучером, дядькой, сберегателем и полным хозяином моей воли. В этом отстранении личной свободы, а вместе с тем и ответственности за себя и за свое существование, было что-то очень приятное. Старик, весьма суровый с виду, но плутоватый, как все итальянцы, живущие около трактиров и больших дорог, ни разу не изменил горделивому слову, которым он возразил на мое беспокойное сомнение касательно достоинства будущего провианта. «Signer, son galant'uomo⁴, – сказал он, – и все лучшее, что найдем в гостиницах, будет вам представлено». И действительно, он был порядочным человеком в этом смысле, но в другом отношении никак нельзя было его упрекнуть в излишне суровом понимании своего долга. Во-первых, увидав на другой день рыхлую карету у подъезда гостиницы, я никак не мог вообразить, чтоб эта была та покойная, хорошая, красивая и всем известная карета, про которую мне говорил ветурино накануне, да и лошади не походили на тех статных, хороших, любезных лошадей, какие представлялись моему воображению благодаря его описаниям. Но делать было нечего. Я сел в карету скрепя сердце и, покуда привязывали чемодан к запяткам, весьма сурово посматривал на мальчишку в лохмотьях, который, подойдя к самой двер-

⁴ Синьор, я порядочный человек (итал.)

це, требовал милостыни с какой-то удивительной настойчивостью, с непостижимым выражением гордости, точно милостыня была казенная пошлина, взимаемая им по закону. Я решился не давать милостыни, смотрел ему прямо в лицо и, когда карета тронулась, имел удовольствие видеть, как, метнув свирепый взор, мальчик протянул кулак и сказал вполголоса яростно и вполголоса с недоумением: «Вот, еще едет в Лоретто, а милостыни не дает Путь наш лежал через знаменитое Лоретто, славное своим собором и драгоценностью, в нем хранимой. Но, продолжая изложение не совсем твердых нравственных оснований моего ветурина, я должен еще прибавить, что накануне я выразил ему желание ехать один-одинешенек в карете и получил на то полное согласие его, заплатив предварительно за все три остальные места условленную плату. Я был действительно один в карете, когда мы тронулись от подъезда гостиницы, но, вероятно, ветурино размыслил, что желание мое принадлежит к числу тех варварских капризов капитала, которые можно не исполнять, хотя бы право на них и было утверждено законным контрактом. У самых ворот города сын ветурино, бойкий мальчик лет двенадцати, взятый им с собою для подмоги и для приобретения опытности в ремесле, отворил дверцы кареты и впустил туда двух калабрийских читадинов⁵, в весьма живописных костюмах, сказав мне с наглостью, обещавшей большие успехи в будущем: «Они до первого города, синьор».

⁵ горожанин (итал.)

Оказалось, что в мысли ветурино и его потомка первый город был Рим, как, впрочем, и следует думать о нем всякому поэту и философу. Дело еще этим не кончилось. У меня было грустное предчувствие, что и третье пустое место будет вскоре занято, – так и случилось. Едва отъехали мы по шоссе несколько сажен, как увидали на дороге в желтом, весьма неживописном и потертом городском сюртуке молодого человека лет восемнадцати, с немецкой физиономией, здорового, мускулистого и несколько робко поджидавшего нашего подъезда. Это был бедный сапожный подмастерье из католических кантонов Швейцарии, отправлявшийся в вечный город искать места в папской гвардии, после неудачных попыток прославиться где-нибудь в провинции. Он влез в карету неуклюже, но уклончиво и стыдливо, словно чувствуя за собой какой-либо проступок. Все места были заняты: я посмотрел в переднее оконце на ветурино. Он сидел на козлах в круглой шляпе с большими полями, в коричневом плаще с откидным капишоном и с длинным бичом в руке – спокойно, неподвижно и хладнокровно, как будто жизнь и прошедшее его были чище зеркала, но молчание и суровость его выражали все-таки некоторую стыдливость и точно говорили: «Как быть? Мы живем этим». Только мальчишка его часто оборачивался назад и кидал на меня сквозь оконце испытующий взгляд.

И началось долгое путешествие. Происходило это в самой средние итальянской весны, в конце апреля месяца. Начало

ее я застал в Венеции, но там она имела совсем другой характер. Гете заметил, что Венеция город по преимуществу красок. света, тени и ярких живописных противоположностей. В мое время полное весеннее солнце отражалось и играло на его мраморных, разноцветных дворцах и соборах, на мозаиках их стен, на заливе, на колоннах площадей, на флагах и памятниках его, которые сверкали всей своей массой... Это было ослепительно, почти невыносимо для северного глаза. Довольно сказать, что даже и те архитектурные подробности, которые находились в тени и вырезывались резкими очертаниями на плоскости целого здания, залитого солнцем, даже и они были еще пропитаны каким-то голубым светом, словно волновавшимся на поверхности их. В Анконе характер природы изменился. Небо покрылось легкими белыми прозрачными тучами. В воздухе было что-то нежное, пахучее и ласкающее, окрестности лежали в ровном, задумчивом освещении, и только изредка волны мягкого света пробегали по виноградным и фруктовым садам. Ничто не раздражало глаза, но и ничто не заслоняло самой дальней точки горизонта. Все пространство покрыто было не туманом, а какой-то умеренно яркой пеленой, сохранявшей целиком очертания и формы предметов, но сглаживавшей резкость всех линий. Первые отпрыски Апеннин, вскоре показавшиеся нам, светились как перламутр, а дальние водопроводы, являвшиеся иногда по сторонам на горизонте, словно были написаны белой краской, несколько поблеклой от времени, по белому же,

но свежему полю неба. Нега и томление выражались на всем, куда вы ни обращали взор, и вы невольно чувствовали, что при таких днях все должно зреть в земле и многое подыматься в сердце человека. Когда около полудня я всходил пешком на гору, где красовалась Лоретто со своим собором и дворцом, долина, которую мы только что миновали, выступала шаг за шагом перед глазами, со всеми ее белыми каменными хижинами, разбросанными так, как будто они упали с неба и рассыпались между виноградных кустов и фруктовых деревьев. Горы составляли окраину долины, и все вместе погружено было в такую возбуждающую, томительную тишину, в такое мертвое и вместе страстное молчание...

Миновав Лоретто, мы стали подыматься у Серравале на Апеннинские горы. Я большей частью шел пешком. Изредка перепадал теплый дождь, ужасно пугавший итальянцев, которые, как все южные народы, боятся дождя. На всякой покатости ветурино останавливался, оглядывался по сторонам и, завидев вдали волов, уже приготовленных заранее для подмоги проезжающим, кричал: «*Vuovi...*»⁶.

Мальчик-пастух издалека выговаривал себе байок⁷ за труд, потом лениво приводил волов, припрягал к нашим лошадкам, и мы тащились вверх. Случалось, что горы готовились запереть нас со всех сторон, врезывались одна в другую и загораживали дорогу, но белая шоссейная полоса все тя-

⁶ Волы – итал.

⁷ две копейки ассигн.

нулась по одному боку скалы и к вечеру спускалась вниз — непременно в цветущую долину и фруктовый сад, где мы и заночевывали. Ночлеги эти и полуденные отдыхи в ущельях составляли не последнюю прелесть нашего патриархального путешествия. Мы останавливались то в бедной австении, уединенно торчавшей при дороге, то в гостинице какого-либо местечка, имевшей притязание на пышность, как следует горожанке, но везде встречали ту же простоту итальянской жизни. В иных местах было лишнее блюдо, обыкновенно какая-либо зелень или рыба, подаваемая с видимой гордостью на стол самим хозяином; в других — фляжка туземного вина, легкого и прозрачного, вызывала особенную похвалу собеседников; случалось также, что кровать совершенно голой комнаты покрыта была ситцевым одеяльцем необычайной и хвастливой пестроты, но везде за стол наш садился вместе с нами первый поселянин, возвращавшийся из соседнего местечка, да обыкновенно и сам хозяин или главный *cameriere*, поставив блюдо, придвигал стул к посетителям, помещался сзади кого-либо и, опираясь на спинку чужого сидалища, вступал в живой и беглый разговор, удивительно выражавший общительность и природное любопытство племени. Ветурино мой почувствовал ко мне глубокое уважение, как только убедился, что я не расположен делать ему упреков за плохое понимание святости контракта: рано утром, когда после кофе выходили мы продолжать наше следование, он уже был на козлах, ласково улыбался мне и даже

раз, поджидая остальных путешественников, указал глазами на сына и произнес: «Возьмите его с собой а Pietroburgo». – «Пожалуй», – отвечал я. «А что он будет там?» – продолжал ветурино. «Он будет солдатом в русской гвардии», – сказал я. «Хочешь ты?» – заметил отец, обращаясь к сыну, который стоял у двери, тоже улыбаясь с свойственным ему лукавством. Мальчик сделал сильный жест рукою и отвечал: «Лучше быть аббатом». Старик разразился хриплым хохотом и дернул лошадей, прибавив: «Che birbone!»⁸ Лаконическая шутка эта окончательно утвердила между нами самые удовлетворительные отношения.

Отношения мои с двумя калабрийцами – моими спутниками в карете – оказались чуть ли еще не лучше и во всяком случае гораздо замечательнее. Оба спутника были в коротеньких бархатных куртках, в панталонах до колена, и чулках и ботинках; классическая круглая шляпа с огромными полями и широкий плащ тоже украшали их, но первый знакомец, высокий, молодой и красивый мужчина, с горбатым носом и черными волосами, вел себя, как испанский гранд. Он молча и с достоинством подавал мне руку поутру, мало говорил в карете, но с изысканной учтивостию отвечал на вопросы, почти всегда улыбаясь; вместе с тем он отдавал и принимал взаимные услуги, столь обыкновенные между путешественниками, очень важно и серьезно. Я часто посматривал на него украдкой, стараясь уяснить себе свойства и

⁸ Экой разбойник!

особенности этого изящества в обращении, которое в торговцах кожами, какими оба они были, меня чрезвычайно поражало... Я тогда еще не знал этой итальянской природы, носящей в себе самой возможность простого и естественно-го достижения всех родов красоты и благородства. Гораздо позднее ознакомился я с удивительными типами, которые в нищенской, прорванной куртке, наброшенной на плечо, стоят и смотрят, как герои. и с чудными характерами, которые за обухом мясника или за прилавком портного мыслят, как рыцари. Товарищ моего испанского гранда был создан иначе. Это был живой человек, нисколько не красивый, широколицый, с лысиной на голове, уже пожилой и необычайно добродушный, — качество, весьма ясно светившееся и в быстрых черных глазах его. Не знаю, за что он привязался ко мне с первого раза, Тут опять действовало врожденное итальянское добросердечие и то непосредственное чувство, которое у свежих народов бывает вообще неутомимо. Его, видимо, взволновало мое положение путешественника из далекой страны, без знакомых и друзей. Угождениям не было меры. Предупредительность не знала границ. Он суетился от глубокой, сердечной доброты и по действию живого воображения, мгновенно и случайно пораженного. Всю дорогу смотрел он за мной во все глаза и часто, наклоняясь ласково на мою сторону, спрашивал, улыбаясь: «А есть ли такие горы у вас в Руси?» Вопросы подобного рода почти не сходил у него с языка; усматривал ли он признаки внимания и

удовольствия на моем лице, как тотчас же обращался с запросом, есть ли в Рушии шоссе, реки, лошади, австории собаки, деревья, и при моих утвердительных ответах оставался совершенно счастлив, словно ему подарили какое-либо поместье со всеми этими предметами. К этому надо прибавить самое решительное, абсолютное отсутствие всяких сведений и ученой образованности, заставившее его раз спросить не одну ли веру с турками мы исповедуем? Зато суетливая доброта его не отступала от меня ни на шаг во всю дорогу. Помню, что раз под вечер мы достигли высшей точки Апеннин; я, вместе с моим неотступным провожатым, шел пешком, и мы далеко оставили за собой ветурина. Когда открылась передо мной вся панорама этого хребта с горами, которые составляли бесчисленные перспективы для глаза, прерывая воздушное пространство своими вершинами и слабая в красках все далее и далее, — я остановился в невольном изумлении. Тут не было ничего ломаного, угловатого и хаотического, как в Альпах, еще недавно мною покинутых; это было просто словно окаменелое, широкое море, где каждая волна приобрела самостоятельность, отразилась живописно на другой, а последняя уже слилась с белесоватой полосой неба. Оттенок вечерней зари, пробивавшейся сквозь облака, бросал на дальние вершины яркий, багровый свет и оттенял сильнее ближайшие к нам. Я хотел что-то сказать спутнику моему, но его не было возле меня. В это время подъехал ветурино и строгим голосом приказал нам садиться в карету,

под тем предлогом, что теперь мы будем спускаться очень скоро, рысью. Я тотчас же повиновался, а за мной прыгнул в карету и пропавший мой спутник. Он с торжеством держал в руке пучок полевых цветов, набранных им в горах, и, подавая его мне, сказал отлично громким голосом, как обыкновенно говорят итальянцы иностранцу, на способность понимания которого не совсем надеются: «Положите, положите—эти цветы, эти цветы— в книжку свою, книжку свою — и когда будете в Руси, у себя, — вспомните о них». Я положил цветки в путеводитель Муррая, где они и теперь у меня покоятся.

Что касается до швейцарского подмастерья, то это был пария нашего общества. Все мои спутники чувствовали себя по состоянию и гражданскому положению выше бедного юноши и оказывали ему совершенное невнимание; только один я отводил ему душу несколькими немецкими фразами, погружавшими его постоянно в какой-то трепет. Застенчивость и робость его были непобедимы. Он не конфузился только тогда, когда спал, а спал он много в карете и спал уже совершенно откровенно. Раскинувшись прямо и по сторонам, он делался тогда почти единственным хозяином кареты, предоставляя в ней товарищам своим, как будто из милости, кой-какие уголки. Вероятно, ветурино принял его в число спутников за совершенную безделицу, потому что смотрел на него и обращался с ним постоянно с презрением. Следуя привычкам своей родины, молодой швейцарец почти нико-

гда не шел по шоссе, а большей частью карабкался целиком по горам и всегда опереживал возницу, строго придерживавшегося прямой линии. Раз, когда он, выскочив из кареты, прямо полез на скалу, я видел, как ветурино бросил на него невыразимо саркастический взгляд и произнес сквозь зубы, точь-в-точь как Лаблаш в «Севильском цирюльнике»: «Che bestia!»⁹.

Таким образом, за час до солнца, когда в горах еще волновалась сырость весенней ночи, начинали мы путешествие, закутываясь в свои шинели и прижимаясь к своим уголкам; но мало-помалу с возрастающей теплотой дня, иногда очень ярко показывавшегося из-за вершин, сбрасывали шинели вместе с последними остатками дремоты. Тогда останавливались мы в какой-нибудь горной котловине, у подъезда одной из тех каменных хижин, построенных из едва обтесанного булыжника, где внизу у очага живет семейство хозяина, исправляя там и все свои нужды, – и завтракали. Часто случалось мне смотреть, сидя перед уединенной гостиницей, на клочок неба, видимый из ущелья, и любоваться облаками, которые пробегали вверху, точно китайские тени, свертываясь на узком полотне и оставляя по скату гор там и сям оторванные куски и точки прозрачного тумана. Иногда въезжали мы обедать и отдыхать в средневековое местечко, с мрачной башней у моста, перекинутого через обрыв, с романским собором в середине и с остатками полуразру-

⁹ Экой скотина! (итал.)

шенного замка в конце, где еще иногда сохранялся аристократический донжон¹⁰. И чем грознее казалась наружность такого местечка, тем сильнее действовало сонное, мертвое спокойствие, царствовавшее на его улицах. Казалось, шумная средневековая жизнь отошла отсюда для того, чтоб оставить за собой пустоту, изредка наполняемую порывами современной жизни, которая иногда мгновенно и бурно проносится над этими местами, позабытыми историей, и снова покидает их на сон и невозмутимую тишину. Было что-то соответственное между нашим медленным, ленивым путешествием и этой летаргической жизнью, которая не заботится о времени, не бежит за ним с судорожной страстью, как остальная Европа, и равнодушно дает ему течь мимо себя... Как будто сам переживаешь это душевное состояние и радуешься, что мог испытать его. Невыразимое наслаждение доставляли мне те счастливые долины, которыми перерезываются Апеннины, оставляя в воображении одно воспоминание своих садов. Читатель может найти в прекрасной книге мистер Миттермайера об Италии описание замечательно человеческих, мягких отношений между владельцами земель в этой стране и их фермерами, между фермерами и их работниками, отношения, удалившие язву сословной вражды, которою страдает Западная Европа. Все эти долины, разбитые на множество владельческих кусков, с их загородами, виноградниками, полями, садами, – живут как будто одновремен-

¹⁰ донжон (франц. – donjon) – башня.

ной жизнью на всех своих точках. При спуске с горы видны на далекое пространство плоские кровли разбросанных хижин; присутствие человека с его трудом, заботами и радостями чувствуется, так сказать, во всех сторонах картины и дает ей совершенно особенный смысл. Каждая подробность ее словно говорит не только за себя, но и за человека, а все вместе представляется как восхитительный пейзаж и как покров, скрывающий мысль. Олицетворение само напрашивается здесь на каждом шагу. Помню необычайное впечатление, произведенное на меня чудной долиной Фолиньо, которую я видел случайно в полном блеске ясного солнца, в самый полдень. Изумительная тишина лежала на всех полях и огородах, блестящих первою зеленью весны и еще вдобавок омываемых речкой, которая бежала, светясь и скрываясь по временам за кустами. Благоухание лаврового листа несло к нам на склон горы, по которому мы спускались в долину, развернувшуюся у подошвы ее. Съехав вниз, мы остановились. У самой дороги возвышался необычайно грациозный древний храмик Дианы, в чистом вкусе времен республики, омываемый рекою и чудно отражавшийся белыми колоннами и белыми стенами своими на зелени горы и полей. Нельзя было выбрать лучшего места для жилища чистой богини, и мертвая тишина, царствовавшая как в долине, так и вокруг самого храма, казалась еще остатком благоговейного уважения и культа, которыми некогда окружали это святилище.

Не стану описывать ни Фолиньо, ни Терни с его каска-

дом, ни Сполетто, ни других мест, прежде нами осмотренных; все это находится в бесчисленных описаниях Италии и обо всем этом надо говорить много и долго, если уже решиться говорить. Скажу только, что по приближении к Риму разбросанные деревни все более и более исчезают и появляются каменные хижины, толпящиеся друг к другу, как бы ища защиты от врагов в общинной и городской жизни. Средневековые башни и укрепления встречаются чаще. Вскоре открылись перед нами и покинутые, бесплодные поля Рима, по которым Тибр три раза извился широкой мутной лентой прежде вступления своего в вечный город. Мы переехали его сперва у Боргет, затем через Ponte Mollo-мост, построенный еще Августом. Какое-то подобие массивного темного колпака, висевшего на небе, указало нам место, где находился Петр, но мы держались левее и через ворота del Popolo въехали в Рим, на великолепную площадь, украшенную обелиском, имея перед собою три улицы, начинавшиеся церквями, а налево от себя гору Пинчио с ее чудными виллами, в которых еще не так давно, в XVI столетии, жители Рима видели прохаживающуюся тень Нерона, где-то тут погребенного. Мы приехали в среду на страстной неделе, 28 апреля 1841 года, после однонедельного счастливейшего и в полном смысле насладительного вояжа.

Старомодная карета наша была, однако же, замечена всеми носильщиками, факинами и *cicerone*, которые выются около трактиров в Италии, как досадные и часто невыноси-

мые насекомые. В трактире Hotel de Russie, на самой площади del Popolo, куда я тотчас бросился, не было ни одного нумера, по милости гостей, прибывших к римским праздникам, особенно английских офицеров, смещенных на половину жалованья. Они в фантастических, выдуманных ими самими мундирах наполняли потом церкви и капеллы Рима, радуясь дешевизне его жизни и свободе носить какие угодно самозванные титулы. Я несколько раз изумлялся неуголимо-му, горячечному любопытству этих мирных воинов, соединенному с оттенком грубой насмешливости и презрения. Не успел, однако ж, я убедиться, что не найду пристанища ни в одном из соседних отелей, как какой-то *fachino*¹¹ подхватил мой чемодан и понесся вдоль Корсо. Волей или неволей я следовал за ним до тех пор, пока он не остановился у одного дома на Корсо, где подхватил меня уже поджидавший хозяин квартиры и приказал нести чемодан вверх, в две пустых и чистых комнатки. Тут произошла одна из тех штук, которые так чернят Италию в глазах людей, привыкших судить о всей стране по первому мошеннику, какой им попадется на дороге. Хозяин потребовал 150 франков платы за квартиру в продолжение одной святой недели, и я думал выказать удивительные познания местных цен, предложив ту же сумму за весь месяц. Это было ровно в шесть раз более того, что следовало, — и едва торг состоялся, как хозяин, полагая,

¹¹ носильщик (итал.).

вероятно, возможность существования vendeifbi¹² и в моей славянской крови, явился ко мне с контрактом, обязывавшим меня не портить ни диванов, ни стульев, ни столов, ни стен, ни рам, ни полов и проч. Подписав это обязательство, я переоделся и тотчас же вышел на улицу, расспрашивая у всех, куда пройти к русскому посольству, где намеревался взять адрес Н. В. Гоголя. Между тем облачное небо, сопровождавшее нас во все время путешествия, разрешилось проливным дождем, загнавшим всех в дома и кофейни. Промокши до костей, с трудом отыскал я дом посольства, взял адрес у швейцара и еще с большим трудом возвратился домой, потому что ошибся улицей и плутал до тех пор, пока не наткнулся на извозчичью коляску, имевшую твердость не убежать восвояси от дождя.

На другой день, прежде визита к Гоголю, я отправился в собор Петра. Говорили некогда, что все дороги ведут к Риму; можно сказать, что все дороги в Риме ведут или к Капитолию, или к Петру. Легко узнал я направление, перешел Тибр помосту, украшенному вычурными статуями, поглядел на колоссальную гробницу Адриана¹³, похожую на громадную пивную стопу, и по прямой линии достиг великолепной колоннады, пропилеи Петра, а затем вступил и в святилище, которое так долго грезилось моему воображению, но воображение ничего подобного и нарисовать не могло. Несмотря на

¹² родовой мести (итал.)

¹³ крепость св. Ангела.

несчастные украшения пилястров, принадлежащие к упадку вкуса, линии собора и сочетания их ясно обозначались и с первого шага как будто отнимали возможность измерить их глазом – так огромны были своды над головой, так страшно тяжело упирались в землю пиластры и росли кверху, к дугам потолка, которых принимали на себя. Многим знакомо двойное чувство, испытанное путешественниками при входе в этот храм – чувство бедности отдельного лица в виду колоссальной, вековой постройки и чувство гордости за мысль и силу человека. Особенно это двойное, смешанное чувство нисходит на вас, когда, следуя по главному проходу (nef), уже поражающему широтой своего дугообразного потолка, вы идете прямо на массу света, которая бьет впереди, вступаете под самый купол и на одно мгновение совершенно теряетесь в этом неизмеримом пространстве, охваченном каменным Пантеоном. Размеры так страшны, что почти уничтожается понятие о них и нужно какое-либо сравнение для ясного их представления. Колоссальный балдахин Бернини в середине, над гробницей апостола, кажется беседкой, и вы с напряженным усилием соображаете меру его вышины, указываемую обыкновенно дорожниками. Долго бродил я по боковым отделам храма, изучая его памятники, большею частью ухищренной, затейливой манеры XVII столетия, останавливаясь перед колоссальными мозаическими картинами его и осторожно обходя исповеднические ложи, пред которыми стояли толпы народа, исполняющего в эти торжествен-

ные дни духовные свои обязанности. Особенно занимали меня бесчисленные эффекты, рождаемые в пространствах этого храма перспективой и взаимным сочетанием каменных и мраморных масс, различно освещенных. То из-за угла какого-нибудь пиластра виднелась колоссальная дуга главного прохода, черная и как бы отрезанная на ярком грунте пустого пространства, образуемого куполом; то выдвигался какой-либо памятник одной частью своей, словно оторвавшейся от общего целого; то открывался вкось балдахин Бернини в темном освещении, а за ним вдали угол папской кафедры, озаренной светлым лучом из окна. Свет окон ложился также на помост, перерезывался густыми тенями массивных пиластров, рождая непрерывные живописные эффекты, которые благодаря громадности здания имели колоссальный и грандиозный характер. Собор жил своей особенной жизнью... У одной стены я неожиданно наткнулся на моего калабрийского радушного знакомого. Мы обрадовались друг другу. Он рассказал мне, что в нынешнее утро он уже исповедался, был у причастия и завтра, кончив все с Римом, едет далее в Неаполь. С неизменной своей лаской он спрашивал меня о моих похождениях, глубоко опечалился при рассказе о дорогом найме квартиры и, узнав, что я намерен отсюда идти пешком отыскивать одного своего земляка, предложил себя в проводники. Вскоре оказалось, что Strada Felice, близ Monte Pincio, куда мы должны были направлять путь свой, была столь же мало знакома ему, как и мне. Он беспрестанно

расспрашивал всех прохожих о дороге и почти всегда брал не в ту сторону, которую указывали: излишнее желание отличаться услугой сбивало его поминутно с толку. Мы остановили даже одного весьма почтенного мужчину с важной физиономией и с зонтиком в руке. Он подробно изъяснил нам путь, а когда, по обыкновению, отойдя несколько шагов, проводник мой вдруг повернул, ни с того, ни с сего, в переулок, совершенно противоположный указанному направлению, почтенный старец, позабыв лета и важность, пустился за ним вдогонку, крича: «Ma dove vada. corpo di Vacco?»¹⁴ Запыхавшись, нагнал он проводника, сделал ему препорядочный выговор, поставил на надлежащий путь и, едва обращая внимание на мои изъявления благодарности, спокойно возвратился на свою дорогу. Наконец мы миновали великолепную церковь Maria Maggiore, за ней дворец Барберини, встречая повсюду народ в необычайном движении и суете, как обыкновенно бывает перед праздниками там, где еще сохранилось понятие о праздниках, и наконец очутились в Strada Felice, у дома, носившего желанный 126 номер. Тут, поблагодарив от души моего благороднейшего спутника, я крепко пожал ему руку, и мы расстались навсегда.

В последнем этаже дома, в просторной передней, я наткнулся на сухого краснощекого старичка, почтенного владельца этажа, г. Челли, с которым так дружно жил впоследствии, и спросил его о квартире Гоголя. Старичок объявил,

¹⁴ Да куда же ты идешь, черт возьми?

что Гоголя нет дома, что он уехал за город, никому неизвестно, когда будет назад, да и по прибытии, вероятно, сляжет и постель и никого принимать не станет. Видно было, что почтенный старичок выговаривал затверженный урок, который ему крепко-накрепко был внушен Гоголем, боявшимся посетителей как огня. Но покуда я старался убедить его в своих правах на свидание с его жильцом, дверь прямо перед нами отворилась, и из нее высунулась голова самого Гоголя. Он шутливо сказал старичку: «Разве вы не знаете, что это Жюль из Петербурга? Его надо впустить. Здравствуйте. Что ж вы не приезжали к карнавалу?» – прибавил он по-русски, вводя меня в свою комнату и затворяя двери. Надо сказать, что около 1832 года, когда я впервые познакомился с Гоголем, он дал всем своим товарищам по Нежинскому лицей и их приятелям прозвища, украсив их именами знаменитых французских писателей, которыми тогда восхищался весь Петербург. Тут были Гюго, Александры Дюма, Бальзак и даже один скромный приятель, теперь покойный, именовался София Ге. Не знаю, почему я получил титул Жюль Жанена, под которым и состоял до конца. Комната Николая Васильевича была довольно просторна, с двумя окнами, имевшими решетчатые ставни изнутри. Обок с дверью стояла его кровать, посередине большой круглый стол; узкий соломенный диван, рядом с книжным шкафом, занимал ту стену ее, где пробита была другая дверь. Дверь эта вела в соседнюю комнату, тогда принадлежавшую В. А. Панову, а по

отъезде его в Берлин доставшуюся мне. У противоположной стены помещалось письменное бюро в рост Гоголя, обыкновенно писавшего на нем свои произведения стоя. По бокам бюро-стулья с книгами, бельем, платьем в полном беспорядке. Каменный мозаичный пол звенел под ногами, и только у письменного бюро да у кровати разостланы были небольшие коврики. Ни малейшего украшения, если исключить ночник древней формы, на одной ножке и с красивым желобком, куда наливалось масло. Ночник, или, говоря пышнее, римская лампа, стояла на окне и по вечерам всегда только она одна и употреблялась вместо свечей. Гоголь платил за комнату 20 франков в месяц.

Последнее мое свидание с Гоголем было в 1839 году, в Петербурге, когда он останавливался в Зимнем дворце, у Жуковского. Первые главы «Мертвых душ» были уже им написаны, и однажды вечером, явившись в голубом фраке с золотыми пуговицами, с какого-то обеда, к старому товарищу своему Н. Я. Прокоповичу, он застал там всех скромных, безызвестных своих друзей и почитателей, которыми еще дорожил в то время... Мы уже узнали, что он собирался прочесть нам новое свое произведение, но приступить к делу было не легко. Гоголь как ни в чем не бывало ходил по комнате, добродушно подсмеивался над некоторыми общими знакомыми, а о чтении и помину не было. Даже раз он намекнул, что можно отложить заседание, но Н. Я. Прокопович, хорошо знавший его привычки, вывел всех из за-

труднения. Он подошел к Гоголю сзади, ощупал карманы его фрака, вытащил оттуда тетрадь почтовой бумаги в осьмушку, мелко-намелко исписанную, и сказал по-малороссийски, кажется, так: «А що се таке у вас, пане?» Гоголь сердито выхватил тетрадку, сел мрачно на диван и тотчас же начал читать при всеобщем молчании. Он читал без перерыва до тех пор, пока истощился весь его голос и зарябило в глазах. Мы узнали таким образом первые четыре главы «Мертвых душ»... Общий смех мало поразил Гоголя, но изъявление нелицемерного восторга, которое видимо было на всех лицах под конец чтения, его тронуло... Он был доволен. Кто-то сказал, что приветствие Селифана босой девочке, которую он сажает на козлы вместо проводника от Коробочки, – приветствие «ноздря» – не совсем прилично. Все остальные слушатели восстали против этого замечания как выражающего излишнюю щекотливость вкуса и отчасти испорченное воображение, но Гоголь прекратил спор, взяв сторону критика и заметив: «Если одному пришла такая мысль в голову – значит, и многим может прийти. Это надо исправить». После чтения он закутался, по обыкновению, в шубу до самого лба, сел со мной на извозчика, и мы молча доехали до Зимнего дворца, где я его ссадил. Вскоре потом он опять исчез из Петербурга.

Гоголь обрадовался нашей новой встрече, расспрашивал, каким путем прибыл я в Италию, одобрял переезд из Анконы с ветурином и весьма сожалел, что предварительно я не

побывал в Париже. Ему казалось, что после Италии Париж становится сух и безжизнен, а значение Италии бросается само собой в глаза после парижской жизни и парижских интересов. Впоследствии он часто развивал эту мысль, Между тем время было обеденное. Он повел меня в известную историческую австрию под фирмой «Lepre»¹⁵, где за длинными столами, шагая по грязному полу и усаживаясь просто на скамейках, стекается к обеденному часу разнообразнейшая публика: художники, иностранцы, аббаты, читадины. фермеры, принчипе, смешиваясь в одном общем говоре и истребляя одни и те же блюда, которые от долгого навыка поваров действительно приготавливаются непогрешительно. Это все тот же рис, барашек, курица, – меняется только зелень по временам года. Простота, общежительность итальянская всего более кидаются тут в глаза, заставляя предчувствовать себя и во всех других сферах жизни. Гоголь поразил меня, однако, капризным, взыскательным обращением своим с прислужкой. Раза два менял он блюдо риса, находя его то переваренным, то недоваренным, и всякий раз прислужник переменил блюдо с добродушной улыбкой, как человек, уже свыкшийся с прихотями странного форестьера¹⁶, которого он называл синьором Николо. Получив наконец тарелку риса по своему вкусу, Гоголь приступил к ней с необычайною алчностью, наклонясь так, что длинные волосы его

¹⁵ «Заяц».

¹⁶ иностранца.

упали на самое блюдо, и поглощая ложку за ложкой со страстью и быстротой, какими, говорят, обыкновенно отличаются за столом люди, расположенные к ипохондрии. В середине обеда к нам подсел довольно плотный мужчина, с красивой, круглой бородкой, с необычайно умными, зоркими карими глазами и превосходным славянским обликом, где доброта и серьезная, проницательная мысль выражалась, так сказать, осязательно; это был А. А. Иванов, с которым я тут впервые познакомился. Опорожнив свое блюдо, Гоголь откинулся назад, сделался весел, разговорчив и начал шутить с прислужником, еще так недавно осыпавшим строгими выговорами и укоризнами. Наменяя на древний обычай возвещать первое мая и начало весны пушкой с крепости св. Ангела и на соединенные с ним семейные обыкновения, он спрашивал: намеревается ли почтенный сервиторе¹⁷ *plantar il Magio*¹⁸ или нет? Сервиторе отвечал, что будет ждать примера от синьора Николо и т. д. По окончании расчета за обед Гоголь оставил прислужнику, как и все другие посетители, два байока, а когда я с своей стороны что-то переложил против этой скудной суммы, он остановил меня замечанием: «Не делайте этого никогда. Здесь есть обычаи, которые дороже вашей щедрости. Вы можете оскорбить человека. Везде вас поблагодарят за прибавку, а здесь посмеются». Известно, что житейской мудрости в нем было почти столько же, сколько и таланта.

¹⁷ итал. – слуга.

¹⁸ слово в слово – сажать май месяц.

Прямо из австении перешли мы на Piazza d'Espagna, в кофейную «Del buon gusto», кажется, уселись вдвоем в уголку за чашками кофе, и тут Гоголь до самой ночи внимательно и без усталости слушал мои рассказы о Петербурге, литературе, литературных статьях, журналах, лицах и происшествиях, расспрашивая и возбуждая повествование, как только начинало оно ослабевать. Он был в своей тарелке и, по счастливому выражению гравера Ф. И. Иордана, мог брать, что ему нужно было или что стоило этого, полной рукой, не давая сам ничего. Притом же ему, видимо, хотелось исчерпать человека вдруг, чтоб избавиться от скуки возвращаться к нему еще несколько раз. Наслаждение способностью читать в душе и понимать самого человека по поводу того, что он говорит, — способностью, которой он, как все гениальные люди, обладал в высшей степени, тоже находило здесь материал... Не имея никаких причин размерять себя, а, напротив, считая необходимостью для истины будущих сношений представить полный вид на самого себя, я говорил решительно все то, что знал, и все то, что думал. Гоголь прерывал иногда беседу замечаниями, чрезвычайно глубокими, но не возражал ни на что и ничего не оспаривал. Раз только он обратился ко мне с весьма серьезным, настоящим требованием, имевшим вместе с тем юмористический оттенок, удивительно грациозно замешанный в его слова. Дело шло о покойном Гребенке как о подражателе Николая Васильевича, старавшемся даже иногда подделаться под его первую манеру рас-

сказа. «Вы с ним знакомы, – говорил Гоголь, – напишите ему, что это никуда не годится. Как же это можно, чтоб человек ничего не мог выдумать? Непременно напишите, чтоб он перестал подражать. Что ж это такое в самом деле? Он вредит мне. Скажите просто, что я сержусь и не хочу этого. Ведь он же родился где-нибудь, учился же грамоте где-нибудь, видел людей и думал о чем-нибудь. Чего же ему более для сочинения? Зачем же он в мои дела вмешивается? Это неблагородно, напишите ему. Если уже нужно ему за другим ухаживать, так пусть выберет кто поближе к нему живет!.. Все же будет легче. А меня пусть оставит в покое, пусть непременно оставит в покое». Но в голосе и в выражении его было так много комического жара, что нельзя было не смеяться. Так сидели мы до самой ночи. Гоголь проводил меня потом к моей квартире и объявил, что завтра утром он придет за мной и покажет кой-что в городе.

На другой день он действительно явился и добродушнейшим образом исполнил свое обещание. Он повел меня к Форуму, останавливал излишнюю ярость любопытства, обыкновенные новичкам порывы к частностям, и только указывал точки, с которых должно смотреть на целое и способы понимать его. В Колизее он посадил меня на нижних градинах, рядом с собою, и, обводя глазами чудное здание, советовал на первый раз только проникнуться им. Вообще он показывал Рим с таким наслаждением, как будто сам открыл его... Это был тот же самый чудный, веселый, добродушный Го-

голь, которого мы знали в Петербурге до 1836 года, до первого отъезда за границу. (Мы исключаем его быструю поездку в Любек в 1829 году с столь же быстрым возвращением назад.) Правда, некоторые черты, как увидим, уже показывали начало нового и последнего его развития, но они еще мелькали на поверхности его характера, не сообщая ему одной, господствующей краски. 1841 год был последним годом его свежей, мощной, многосторонней молодости, и вот почему воспоминание с особенной силой привязывается к этому году. Надо сказать, что в Петербурге около Гоголя составилась круг его школьных приятелей и новых, молодых знакомых, которые любили его горячо и были ему по душе. Перед этим кругом Гоголь всегда стоял просто, в обыкновенной своей позиции, хотя сосредоточенный, несколько скрытный характер и склонность овладевать и управлять людьми не оставляли его никогда. Кроме жаркой привязанности, которую он питал вообще к двум-трем товарищам своего детства, — «ближайшим людям своим», как он их называл, — Гоголю должен был нравиться и тот откровенный энтузиазм, который высказывался тут к тогдашней литературной деятельности его, несмотря на совершенно короткое, нецеремонное обращение приятелей между собою. В этом круге он встречал только ласковые, часто им же воодушевленные лица, и не было ему надобности осматриваться, беречься и отклонять от себя взоры. За чертой круга Гоголь открывал себе широкий путь жизни всеми средствами, которые находились в его богатой

натуре, не исключая хитрости и сноровки затрогивать наиболее живые струны человеческого сердца. Он сходил с этой арены в безвестный и, так сказать, уединенный круг своих приятелей, если не отдыхать (в это время он не отдыхал почти никогда, но жил постоянно всеми своими способностями), то по крайней мере сравнивать его бескорыстные суждения о себе и ряд надежд, возлагаемых на него, с тем, что говорилось и делалось по поводу его особы на другом, более обширном поприще. Он был прост перед своим кругом, добродушен, весел, хотя и сохранял тонкий, может быть невольный, оттенок чувства своего превосходства и своего значения. Мало-помалу род поучения, ободрения и удовольствия, какие он почерпал в этом круге, становились ему менее нужны и менее привлекательны; жизнь начала нестись с такой силой вокруг него, показались такие горячие, страстные привязанности, действовавшие и на общественное мнение, что никем неведомый и запертый в себе самом кружок должен был потерять значение в его глазах. Притом же вскоре явились требования со стороны других приверженцев Гоголя, на которые старый круг не мог отвечать, и явления в самом Гоголе, которые трудно было понять ему; но почти ко всем его лицам Гоголь сохранил неизменное расположение, доказывавшее теплоту и благородство его сердца. Он даже в минуту развития самостоятельных, наиболее исключительных своих мнений еще вопрошал мысль прежних своих приятелей и прислушивался к ней с большим любопытством. Так

иногда писатель, пресыщенный критикой и разбором своих произведений, охотно склоняет ухо к мнению какого-либо оригинального чудака, живущего вдали партий, литературных вечеров и течения господствующих понятий.

Записки о жизни Гоголя, изданные г. Кулишем, оценены публикой по достоинству. Это одна из немногих драгоценных книг последнего времени, которая исполнена содержания и способна к обильным выводам. Вообще только те книги и важны в литературе, которые заключают гораздо более того, что в них сказано. Вместе с превосходными воспоминаниями гг. Кульжинского, Иваницкого, Лонгинова, Чиждова, г-жи Смирновой и С. Т. Аксакова, передающими нам физиономию Гоголя в урывках, но удивительно живо и верно, вместе с замечательнейшими подробностями о жизни Гоголя и обстановке его жизни в разные эпохи, наконец с богатой коллекцией писем самого Гоголя, стоившей издателю, вероятно, немалых усилий, — книга представляет запас материалов для биографии Гоголя, какого вряд ли кто и мог ожидать. Имя издателя ее упрочено в нашей литературе этим добросовестным и благородным трудом. Во многих местах своей книги он с замечательным пониманием своей задачи отказывается от роли биографа. Действительно, биография Гоголя еще впереди. Вот почему заметки, которые следуют теперь, относятся совсем не к г. Кулишу, исполнившему все свое дело, а имеют в виду тех будущих составителей биографии Гоголя, которые неизбежно воспитаются по «Запискам»

г. Кулиша и с помощью их должны будут построить картину жизни и развития этого во всех отношениях необыкновенного человека.

Прежде всего хотелось бы нам, чтоб навсегда отвергнута была система отдельного изъяснения и отдельного оправдания всех частных в жизни человека, а также и система горевания и покаяния, приносимого автором за своего героя, когда, несмотря на все усилия, не находит более слов к изъяснению и оправданию некоторых явлений. Направление это бесплодно. Там, где требуется изобразить характер, и характер весьма многосложный, — оно замещает старание понять и представить живое лицо легкой работой вычисления — насколько лицо подошло к известным, общепринятым понятиям о приличии и благовидности и насколько выступило из них. При этой работе случается, что автор видит прореху между условным правилом и героем своим там, где ее совсем нет, а иногда принимается подводить героя под правило без всякой нужды, только из ложного соображения, что герою лучше стоять на почетном, чем на свободном и просторном месте. Можно весьма легко избежать всех этих резких недоразумений, изобразив характер во всей его истине, или по крайней мере в той целости, как он нам представляется после долгого обсуждения. Живой характер, глубоко обдуманый и искренне переданный, носит уже в себе самом пояснение и оправдание всех жизненных подробностей, как бы разнообразны, противоречивы или двусмысленны ни ка-

зались они, взятые врозь и отдельно друг от друга. Он освобождает биографа от необходимости стоять в недоумении перед каждым пятнышком, придумывая средства, как бы вывести его поскорее, и отстраняет другую, еще важнейшую беду: видеть пятно там, где его совсем нет и где только существует игра света и тени, порождаемая естественным отражением характера на других предметах и лицах. Ввиду цельно изображенного характера умолкает также и всякая литературная полемика, которая без того приведена в необходимость поверять одни свидетельства другими, опровергать одну частность другой частностью, сомнительный приговор – другим, что под конец представляет какую-то длинную цепь фактов, не приводящих ни к какому результату, и где истина кажется на всех точках, потому что ни на одной не остановилась окончательно. Глубоко продуманный, поэтически угаданный и смело изложенный характер имеет еще и ту выгоду, что он точно так же и принимается, как составил в уме жизнеописателя, то есть целиком. Цельно изображенный характер может быть только целиком отвергнут или, наоборот, целиком принят, на основании строгих нравственных соображений. Без соблюдения этих коренных условий хорошего биографа автор будет походить всегда на человека, который стоит у весов день и ночь и беспрестанно обвешивает проходящих, задерживая одну чашку с событиями и обвинениями слишком тяжелыми или подталкивая другую с явлениями, в моральном смысле несколько легковесными. Стрелка

не придет никогда в свое правильное положение и центральной точки никогда не укажет.

Если с самого детства, с школьной жизни в Нежине, мы видим, что достижение раз задуманной цели или предприятия приводило в необычайное напряжение все способности Гоголя и вызывало наружу все качества, составившие впоследствии его характер, то будем ли мы удивляться, что вместе с ними появилась врожденная скрытность, ловко рассчитанная хитрость и замечательное по его возрасту употребление чужой воли в свою пользу. Станем ли мы скрывать или, еще хуже, искать у читателя отпущения этим жизненным чертам, которые более всего предвещают не совсем обыкновенного человека. В школьной переписке Гоголя с матерью мы видим, по риторическому тону некоторых писем, что в них скрывается какое-то другое дело, чем то, которое излагается на бумаге, и имеем исторические, несомненные свидетельства в подтверждение невольных догадок, возбуждаемых ими. Многие места их, наиболее пышные, держатся за фактические основания совсем не того рода, какие молодой ученик старается выставить перед семейством. Посредством этих пышных фраз он растет в глазах своих родных, с одной стороны, и исполняет свои собственные намерения, с другой. Это раннее проявление неколебимой воли, идущей упорно к своим тайным целям, по-нашему заключает более поучения и выводов, чем самое прилежное исполнение задачи спасти ежеминутно его репутацию,

которую ни один человек, имеющий смысл в голове, никогда не заподозрит. Приведем один пример из домашней его переписки, подтверждающей слова наши. Вот каким способом изъясняет он причину скорого своего возвращения из внезапной поездки за границу в 1829 году: «Несмотря на ваше желание, я не должен пробыть долее в Любеке: я не могу, я не в силах приучить себя к мысли, что вы беспрестанно печалитесь, полагая меня в таком далеком расстоянии»¹⁹. Г-н Кулиш принимает это объяснение как единственно достоверное из всех других предположений о быстром возвращении его в отечество. Конечно, никто не станет опровергать, что Гоголь мог испытывать тоску по родным и знакомым, как и всякий другой человек; но кто вник в сущность его характера, тот никогда не согласится думать, что романтическое, сентиментальное чувство могло изменить одно все его намерения. Не лучше ли для самой славы Гоголя предполагать, как мы искренно убеждены, что бесполезность поездки и отсутствие при этом всякой цели погнало его назад. Менее твердый и самостоятельный человек, сделав ложный шаг, продолжал бы следовать далее по одному направлению, ожидая помощи, по обыкновению, от судьбы, случая, людей и проч. Гоголь, почувствовав, что он стоит на скользкой тропе, тотчас же возвращается назад и снова принимается отыскивать в отечестве своем настоящую почву деятельности, которая никак не давалась ему. Он удваивает силы и находит

¹⁹ письмо к матери, «Записки о жизни Гоголя», т. I, стр. 80.

ее. Так всегда поступают необыкновенные люди, предназначенные к какому-либо роду общественного служения.

Могут ли бросить все эти приемы своеобразного молодого человека, отводящего глаза самых близких людей от истинных своих чувств, от истинных своих намерений, – могут ли они, говорим мы, бросить какую-либо тень на известную страстную привязанность его к матери, на безграничную любовь к семейству, которого он был всю жизнь нравственным и материальным благодетелем, продолжая ту же самую роль покровителя и после смерти? Они открывают только особенности его характера, форму, какую принимали все его поступки и даже душевные его побуждения, и ими Гоголь гораздо лучше обрисовывается, чем посредством приложения к нему общих, отвлеченных понятий о нежности, чувствительности, доброте, годных для всех натур, как платье, сшитое не по одной известной мерке, пожалуй, может прийти на всякий рост.

С 1830 по 1836 год, то есть вплоть до отъезда за границу, Гоголь был занят исключительно одной мыслью – открыть себе дорогу в этом свете, который, по злоупотреблению эпитетов, называется обыкновенно большим и пространным; в сущности, он всегда и везде тесен для начинающего. Гоголь перепробовал множество родов деятельности, – служебную, актерскую, художническую, писательскую. С появления «Вечеров на хуторе», имевших огромный успех, дорога наконец была найдена, но деятельность его еще удваивает-

ся после успеха. Тут я с ним и познакомился. Он был весь обращен лицом к будущему, к расчищению себе путей во все направления, движимый потребностью развить все силы свои, богатство которых невольно сознавал в себе. Необычайная житейская опытность, приобретенная размышлениями о людях, выказывалась на каждом шагу. Он исчерпывал людей так свободно и легко, как другие живут с ними. Не довольствуясь ограниченным кругом ближайших знакомых, он смело вступал во все круга, и цели его умножались и росли по мере того, как преодолевал он первые препятствия на пути. Он сводил до себя лица, стоявшие, казалось, вне обычной сферы его деятельности, и зорко открывал в них те нити, которыми мог привязать к себе. Искусство подчинять себе чужие воли изощрялось вместе с навыком в деле, и мало-помалу приобреталось не менее важное искусство направлять обстоятельства так, что они переставали быть препонами и помехами, а обращались в покровителей и поборников человека. Никто тогда не походил более его на итальянских художников XVI века, которые были в одно время гениальными людьми, благородными любящими натурами-и глубоко практическими умами. Ввиду этого напряженного развития всех сил, направленных к одной цели, будем ли мы сомнительно качать головой, когда увидим Гоголя, самонадеянно вступающего на профессорскую кафедру без нужного приготовления к ней, без качеств, составляющих истинного ученого? Станем ли томиться над изысканием облегчаю- щих

обстоятельств, когда встретим в письмах Гоголя к гг. Максимовичу, Погодину, например, уверение, что он трудится над историей Малороссии в шести томах, над всеобщей историей и географией под заглавием: «Земля и люди» в трех или двух томах, над историей средних веков в восьми томах (всего семнадцать или шестнадцать томов), между тем как он трудился над «Тарасом Бульбою», над статьями и повестями «Арабесок» и «Миргорода». Нам все равно, — верил ли он сам в эти и подобные им обещания, или нет, — они составляют для нас только проблески, указывающие смысл тогдашнего его развития, черты характера, способные изъяснить его физиономию. Что они не лишены своего рода достоинства и поэзии, согласится всякий. В самом деле: картина, представляющая нам гениального человека, занятого устройством своего положения в свете и литературе, изысканием средств для труда на обширном поприще, куда призывает его сознание своей силы, не заключает ли в себе гораздо более нравственной красоты, поэзии и поучения, чем самое кропотливое разбирательство того, что было сказано им хорошего и что не так-то хорошо сказалось? Какую услугу оказывает биограф своему герою, когда, вместо того чтоб пояснить сущность его стремлений и благородство его целей, принимается разрешать противоречия, неизбежные в такой жаркой, лихорадочной жизни, и старается связать их скудной ниткой произвольных толкований, которая еще и рвется ежеминутно в руках исследователя? Как ни редко встреча-

ется эта бесплодная работа в превосходной книге г. Кулиша, но он не совсем свободен от нее. Всякий раз как покидает он роль добросовестного собирателя материалов и приступает к истолкованиям, самые странные недоразумения, самые далекие соображения, совершенно чуждые делу, накаплиются под пером его, нисколько не поражая его ум своим неправдоподобием. Таковы, между прочим, вопросы, задаваемые г-м Кулишем самому себе по поводу одного письма Гоголя в 1829 году, где последний рисует собственный портрет в таких чертах: «Часто я думаю о себе, зачем бог, создав сердце, может, единственное, по крайней мере редкое в мире, чистую, пламенеющую жаркою любовью ко всему высокому и прекрасному душу, зачем он дал всему этому такую грубую оболочку? Зачем он одел все это в такую странную смесь противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и самого униженного смирения?» Слова эти строги, но изображение истинного характера Гоголя должно значительно ослабить краски самой исповеди. Был и законные причины для его противоречий и переходов. Г-н Кулиш прибавляет свои пояснения к портрету, в которых, между прочим, находится следующая мысль: «Большую часть жизни употребил Гоголь на анализ самого себя как нравственного, предстоящего пред лицом бога существа и как бы только случайно вдавался иногда в деятельность другого рода, которая составила его земную славу, — зачем, для чего это?..»²⁰ Вторая полови-

²⁰ «Записки о жизни Гоголя», т. I, стр. 78.

на этого периода не совсем верна в отношении всей вообще жизни Гоголя, но, встреченная при описании первой эпохи его развития и приложенная к молодому Гоголю, искавшему земной славы всеми силами своей души, – она, с мыслию, в ней заключающеюся, отходит к тому роду толкований, о которых мы говорили сейчас и которые зиждутся на соображениях, взятых вне сущности самого предмета.

Вообще для биографа чрезвычайно важно смотреть прямо в лицо герою своему и иметь доверенность к его благодатной природе. Позволено трепетать за каждый шаг младенца, но шаги общественного деятеля, отыскивающего простора и достойной сцены своим способностям, как это было с Гоголем между 1830 и 1836 годами, не могут быть измеряемы соображениями педагогического рода. Прежде всего надо знать тут, куда человек идет, что лежит в основании его характера, каков его способ понимания предметов и в чем заключается сущность его созерцания вообще. Здесь только и отгадка его физиономии, и одна неопровержимая истина. С другой стороны, охотникам до отрицательных данных, до прозаических фактов, низводящих человека к толпе, следует заметить, что в деле понимания характера эта система столь же мало приведет к цели, как и противоположная ей – система ненужной поддержки и оправдания всех его поступков. Можно употребить, например, много времени и много бумаги на перечисление всех доказательств его осторожности в обращении с людьми и снисхождения к любимым

их представлениям, посредством которого Гоголь приковывал к себе сердца знакомых в эту эпоху; можно также написать порядочный лист, подбирая черты, в которых проявляется его врожденная скрытность, склонность выставлять призраки и за ними скрывать свою мысль и проч. Но чем более и чем остроумнее станем отыскивать и исторически подтверждать все наши, в сущности, весьма бедные находки, тем сильнее будет затемняться физиономия Гоголя и отходить от нас в даль и в туман. Оно и понятно. Физиономия его, как и физиономия всякого необыкновенного человека, должна освещаться сама собой, своим внутренним огнем. Она тотчас искажается, как подносят к ней со стороны грубым светом, будь он самого розового или, наоборот, мрачного, гробового цвета. Пример правильной оценки Гоголя дал Пушкин. Известно, что Гоголь взял у Пушкина мысль «Ревизора» и «Мертвых душ», но менее известно, что Пушкин не совсем охотно уступил ему свое достояние. Однако ж в кругу своих домашних Пушкин говорил, смеясь: «С этим малоросом надо быть осторожнее: он обирает меня так, что и кричать нельзя». Глубокое слово! Пушкин понимал неписанные права общественного деятеля. Притом же Гоголь обращался к людям с таким жаром искренней любви и расположения, несмотря на свои хитрости, что люди не жаловались, а, напротив, спешили навстречу к нему. Никогда, может быть, не употребил он в дело такого количества житейской опытности, сердцеведения, заискивающей ласки и притворного гне-

ва, как в 1842 году, когда приступил к печатанию «Мертвых душ». Плодом его неутомимого возбуждения и стремлений к одной цели при помощи всяких мер, которые, конечно, далеко отстоят от идеала патриархальной простоты сношений, было скоро появление «Мертвых душ» в печати. Тот, кто не имеет «Мертвых душ» для напечатания, может, разумеется, вести себя непогрешительнее Гоголя и быть гораздо проще в своих поступках и выражении своих чувств.

Поэтому не удивительно будет, если скажем, что именно в эту страстную, необычайно деятельную эпоху своей жизни Гоголь постоянно оставался существом высокого нравственного характера, не переставал быть ни на минуту по мысли, образу жизни и направлению благороднейшим человеком в строгом смысле слова. Помирить образ подобного человека с теми частностями, которые приводят в тупик поверхностного наблюдателя, не искажая и не перетолковывая их, значит – именно понять и настоящую задачу биографа.

Мы сказали, что Гоголь часто сходил с шумного, трудового своего жизненного поприща в уединенный круг своих приятелей – потолковать преимущественно о явлениях искусства, которые, в сущности, одни только и наполняли его душу. Он никогда не говорил с приятелями об ученых своих предприятиях и других замыслах, потому что хотел оставаться с ними искренним и таким, каким его знали сначала. Гоголь жил на Малой Морской, в доме Лепена, на дворе, в двух небольших комнатах, и я живо помню темную лестницу

квартиры, маленькую переднюю с перегородкой, небольшую спальню, где он разливал чай своим гостям, и другую комнату, попросторнее, с простым диваном у стены, большим столом у окна, заваленным книгами, и письменным бюро возле него. В первый раз, как я попал на один из чайных вечеров его, он стоял у самовара и только сказал мне: «Вот, вы как раз поспели». В числе гостей был у него пожилой человек, рассказывавший о привычках сумасшедших, строгой, почти логической последовательности, замечаемой в развитии нелепых их идей. Гоголь подсел к нему, внимательно слушал его повествование, и когда один из приятелей стал звать всех по домам, Гоголь возразил, намекая на своего посетителя:

«Ты ступай... Они уже знают свой час и, когда надобно, уйдут». Большая часть материалов, собранных из рассказов пожилого человека, употреблены были Гоголем потом в «Записках сумасшедшего». Часто потом случалось мне сидеть и в этой скромной чайной и в зале. Гоголь собирал тогда английские кипсеки с видами Греции, Индии, Персии и проч., той известной тонкой работы на стали, где главный эффект составляют необычайная обделка гравюры и резкие противоположности света с тенью. Он любил показывать дорогие альманахи, из которых, между прочим, почерпал свои поэтические воззрения на архитектуру различных нравов и на их художественные требования. Степенный, всегда серьезный Яким состоял тогда в должности его камердинера. Гоголь обращался с ним совершенно патриархально, говоря ему ино-

гда: «Я тебе рожу побью», что не мешало Якиму постоянно грубить хозяину, а хозяину заботиться о существенных его пользах и наконец устроить ему покойную будущность. Сохраняя практический оттенок во всех обстоятельствах жизни, Гоголь простер свою предусмотрительность до того, что раз, отъезжая по делам в Москву, сам расчертил пол своей квартиры на клетки, купил красок и, спасая Якима от вредной праздности, заставил его изобразить довольно затейливый паркет на полу во время своего отсутствия. Приятели сходились также друг у друга на чайные вечера, где всякий очередной хозяин старался превзойти другого разнообразием, выбором и изяществом кренделей, прибавляя всегда, что они куплены на вес золота. Гоголь был в этих случаях строгий, нелюбезный судья и оценщик. На этих сходках царствовала веселость, бойкая насмешка над низостью и лицемерием, которой журнальные, литературные и всякие другие анекдоты служили пищей, по особенно любил Гоголь составлять куплеты и песни на общих знакомых. С помощью Н. Я. Прокоповича и А. С. Данилевского, товарища Гоголя по лицу, человека веселых нравов, некоторые из них выходили действительно карикатурно метки и уморительны. Много тогда было сочинено подобных песен. Помню, что несколько вечеров Гоголь беспрестанно тянул (мотивы для куплетов выбирались из новейших опер – из «Фенелы», «Роберта», «Цампы») кантату, созданную для прославления будущего предполагаемого его путешествия в Крым, где находил-

ся стих:

И с Матреной наш Яким
Потянулся прямо в Крым.

В памяти у меня остается также довольно нелепый куплет, долженствовавший увековечить подвиги молодых учителей из его знакомых, отправлявшихся каждый день на свои лекции на Васильевский остров. Куплет, кажется, принадлежал Гоголю безраздельно:

Все бобрами завелись,
У Фаге все завились —
И пошли через Неву,
Как чрез мягку мураву и т. д.

Точно то же происходило и на обедах в складчину, где Гоголь сам приготавливал вареники, галушки и другие малороссийские блюда. Важнее других бывал складчинный обед в день его именин, 9 мая, к которому он обыкновенно уже одевался по-летнему, сам изобретая какой-то фантастический наряд. Он надевал обыкновенно ярко-пестрый галстучек, взбивал высоко свой завитой кок, облакался в какой-то белый, чрезвычайно короткий и распашной сюртучок, с высокой талией и буфами на плечах, что делало его действительно похожим на петушка, по замечанию одного из его знакомых (Белоусова). Как далек еще тогда он был от поздней-

шей самоуверенности в оценке собственных произведений, может служить то, что на одном из складчинных обедов 1832 года он сомнительно и даже отчасти грустно покачал головой при похвалах, расточаемых новой повести его «Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем». «Это вы говорите, – сказал он, – а другие считают ее фарсом». Вообще суждениями так называемых избранных людей Гоголь, по благородно высокой практической натуре своей, никогда не довольствовался. Ему всегда нужна была публика. Случалось также, что в этих сходках на Гоголя нападала беспокойная, судорожная, горячая веселость – явное произведение материальных сил, чем-либо возбужденных. Вообще следует заметить, что природа его имела многие из свойств южных народов, которых он так ценил вообще. Он необычайно дорожил внешним блеском, обилием и разнообразием красок в предметах, пышными, роскошными очертаниями, эффектом в картинах и природе. «Последний день Помпеи» Брюллова привел его, как и следовало ожидать, в восторг. Полный звук, ослепительный поэтический образ, мощное, громкое слово, все, исполненное силы и блеска, потрясало его до глубины сердца. О метафизическом способе понимания явлений природы и искусства тогда и в помине не было. Он просто благоговел перед созданиями Пушкина за изящество, глубину и тонкость их поэтического анализа, но так же точно, с выражением страсти в глазах и в голосе, сильно ударяя на некоторые слова, читал и стихи Языкова. В жиз-

ни он был очень целомудрен и трезв, если можно так выразиться, но в представлениях он совершенно сходиллся со страстными, внешне великолепными представлениями южных племен. Вот почему также он заставлял других читать и сам зачитывался в то время Державина. Чтение его, если уже раз ухо ваше попривыкло к малороссийскому напеву, было чрезвычайно обаятельно: такую поразительную выпуклость умел он сообщать наиболее эффектным частям произведения, и такой яркий колорит получали они в устах его! Можно сказать, что он проявлял натуру южного человека даже и светлым, практическим умом своим, не лишенным примеси суеверия... Если присоединить к этому замечательно тонкий эстетический вкус, открывавший ему тотчас подделку под чувство и ложные, неестественные краски, как бы густо или хитро ни положены они были, то уже легко будет понять тот род очарования, которое имела его беседа. Он не любил уже и в то время французской литературы, да не имел большой симпатии и к самому народу за «моду, которую они ввели по Европе», как он говорил «быстро создавать и тотчас же, по-детски, разрушать авторитеты». Впрочем, он решительно ничего не читал из французской изящной литературы и принялся за Мольера только после строгого выговора, данного Пушкиным за небрежение к этому писателю. Так же мало знал он и Шекспира (Гете и вообще немецкая литература почти не существовали для него), и из всех имен иностранных поэтов и романистов было знакомо ему не по

догадке и не по слухам одно имя – Вальтер Скотта. Зато и окружил он его необычайным уважением, глубокой почти-тельной любовью. Вальтер Скотт не был для него представи-телем охранительных начал, нежной привязанности к про-шедшему, каким сделался в глазах европейской критики; все эти понятия не находили тогда в Гоголе ни малейшего отго-лоска и потому не могли задобривать его в пользу автора... Гоголь любил Вальтер Скотта просто с художнической точки зрения за удивительное его распределение материи расска-за, подробное обследование характеров и твердость, с кото-рой он вел многосложное событие ко всем его результатам. В эту эпоху Гоголь был наклонен скорее к оправданию раз-рыва с прошлым и к нововводительству, признаки которого очень ясно видны и в его ученых статьях о разных предметах, чем к пояснению старого или к искусственному оживлению его... В тогдашних беседах его постоянно выражалось одно стремление к оригинальности, к смелым построениям науки и искусства на других основаниях, чем те, какие существу-ют, к идеалам жизни, созданным с помощью отвлеченной, логической мысли – словом, ко всем тем более или менее поэтическим призракам, которые мучат всякую деятельную благородную молодость. При этом направлении два предме-та служили как бы ограничением его мысли и пределом для нее, именно: страстная любовь к песням, думам, умерше-му прошлому Малороссии, что составляло в нем истинное охранительное начало, и художественный смысл, ненавидев-

ший все резкое, произвольное, необузданно-дикое. Они были, так сказать, умерителями его порывов. В этом соединении страсти, бодрости, независимости всех представлений со скромностью, отличающей практический взгляд, и благородством художественных требований заключался и весь характер первого периода его развития, того, о котором мы теперь говорим.

Никогда, однако ж, даже в среде одушевленных и жарких прений, происходивших в кружке по поводу современных литературных и жизненных явлений, не покидала его лица постоянная, как бы приросшая к нему наблюдательность. Он, можно сказать, не раздевался никогда, и застать его безоружным не было возможности. Зоркий глаз его постоянно следил за душевными и характеристическими явлениями в других: он хотел видеть даже и то, что легко мог предугадать. Сколько было тогда подмечено в некоторых общих приятелях мимолетных черт лукавства, мелкого искательства, которыми трудолюбивая бездарность старается обыкновенно вознаградить отсутствие производительных способностей; сколько разоблачено риторической пышности, за которой любит скрываться бедность взгляда и понимания, сколько открыто скудного житейского расчета под маской приличия и благонамеренности! Все это составляло потеху кружка, которому немалое удовольствие доставлял и тогдашний союз денежных интересов в литературе со всеми его изворотами, войнами, триумфами и победными маршами! Для

Гоголя как здесь, так и в других сферах жизни ничего не пропадало даром. Он прислушивался к замечаниям, описаниям, анекдотам, наблюдениям своего круга и, случалось, пользовался ими. В этом, да и в свободном изложении своих мыслей и мнений круг работал на него. Однажды при Гоголе рассказан был канцелярский анекдот о каком-то бедном чиновнике, страстном охотнике за птицей, который необычайной экономией и неустанными, усиленными трудами сверх должности накопил сумму, достаточную на покупку хорошего лепажевского ружья рублей в 200 (асс.). В первый раз, как на маленькой своей лодочке пустился он по Финскому заливу за добычей, положив драгоценное ружье перед собой на нос, он находился, по его собственному уверению, в каком-то самозабвении и пришел в себя только тогда, как, взглянув на нос, не увидел своей обновки. Ружье было стянуто в воду густым тростником, через который он где-то проезжал, и все усилия отыскать его были тщетны. Чиновник возвратился домой, лег в постель и уже не вставал: он схватил горячку. Только общей подпиской его товарищей, узнавших о происшествии и купивших ему новое ружье, возвращен он был к жизни, но о страшном событии он уже не мог никогда вспоминать без смертельной бледности на лице... Все смеялись анекдоту, имевшему в основании истинное происшествие, исключая Гоголя, который выслушал его задумчиво и опустил голову. Анекдот был первой мыслию чудной повести его «Шинель», и она заронила в душу его в тот

же самый вечер. Поэтический взгляд на предметы был так свойствен его природе и казался ему таким обыкновенным делом, что самая теория творчества, которую он излагал тогда, отличалась поэтому необыкновенной простотой. Он говорил, что для успеха повести и вообще рассказа достаточно, если автор опишет знакомую ему комнату и знакомую улицу. «У кого есть способность передать живописно свою квартиру, тот может быть и весьма замечательным автором впоследствии», — говорил он. На этом основании он побуждал даже многих из своих друзей приняться за писательство. Но если теория была слишком проста и умалчивала о многих качествах, необходимых писателю, то критика Гоголя, наоборот, отличалась разнообразием, глубиной и замечательной многосложностью требований. Не говоря уже о том, что он угадывал по инстинкту всякое не живое, а придуманное лицо, сознавая, что оно возбуждает в нем почти такое же отвращение, как труп или скелет, но Гоголь ненавидел идеализацию в искусстве прежде критиков, возбудивших гонение на него. Он никак не мог приучить себя ни к трескучим драмам Кукольника, которые тогда хвалились в Петербурге, ни к сентиментальным романам Полевого, которые тогда хвалились в Москве. Поэзия, которая почерпается в созерцании живых, существующих, действительных предметов, так глубоко понималась и чувствовалась им, что он, постоянно и упорно удаляясь от умников, имеющих готовые определения на всякий предмет, постоянно и упорно смеялся над ними

и, наоборот, мог проводить целые часы с любым конным заводчиком, с фабрикантом, с мастеровым, излагающим глубочайшие тонкости игры в бабки, со всяким специальным человеком, который далее своей специальности и ничего не знает; Он собирал сведения, полученные от этих людей, в свои записочки, которых было гораздо более, чем сколько их видел г. Кулиш, — и они дожидались там случая превратиться в части чудных поэтических картин. Для него даже мера уважения к людям определялась мерой их познания и опытности в каком-либо отдельном предмете. При выборе собеседника он не запинался между остроумцем, праздным, даже, пожалуй, дельным литературным судьей и первым попавшимся знатоком какого-либо производства. Он тотчас становился лицом к последнему. Но, по нашему мнению, важнее всего этого была в Гоголе та мысль, которую он приносил с собой в это время повсюду. Мы говорим об энергическом понимании вреда, производимого пошлостью, ленью, потворством злу с одной стороны, и грубым самодовольством, кичливостью и ничтожеством моральных оснований — с другой. Он относился ко всем этим явлениям совсем не равнодушно, как можно заключить даже из напечатанных его писем о московской журналистике и об условиях хорошей комедии. В его преследовании темных сторон человеческого существования была страсть, которая и составляла истинное нравственное выражение его физиономии. Он и не думал еще тогда представлять свою деятельность как по-

двиг личного совершенствования, да и никто из знавших его не согласится видеть в ней намеки на какое-либо страдание, томление, жажду примирения и проч. Он ненавидел пошлость откровенно и наносил ей удары, к каким только была способна его рука, с единственной целью потрясти ее, если можно, в основании. Этот род одушевления сказывался тогда во всей его особе, составляя и существенную часть нравственной красоты ее. Честь бескорыстной борьбы за добро, во имя только самого добра и по одному только отвращению к извращенной и опошленной жизни, должна быть удержана за Гоголем этой эпохи даже и против него самого, если бы нужно было. Несомненные исторические свидетельства тут важнее признаний автора, подсказанных другого рода соображениями и сильным подавляющим влиянием новых идей, позднее возникших в его сердце. Мы с своей стороны убеждены, что Гоголь имел, между прочим, в виду и этого рода деятельность, когда накануне 1834 года обращался к своему гению с удивительным поэтическим дифирамбом, вопрошая будущее и требуя у него труда, вдохновения и подвига. Опубликованием этого документа, как и многих других, г. Кулиш получил право на долгую признательность истории литературы нашей. Чудно и многозначительно звучат последние слова этого воззвания к гению: «О, не разлучайся со мною! Живи на земле со мной хотя два часа каждый день, как прекрасный брат мои! Я совершу, я совершу! Жизнь канат во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет

веять недоступное земле божество. Я совершу! О, поцелуй и благослови меня!». Но кроме вдохновенных часов, каких Гоголь просил у своего гения, и кроме положительной деятельности, к какой приводило чувство кипящей жизни и силы, он еще, по характеру своему, старался действовать на толпу и внешним своим существованием; он любил показать себя в некоторой таинственной перспективе и скрыть от нее некоторые мелочи, которые особенно на нее действуют. Так, после издания «Вечеров», проезжая через Москву, где, между прочим, он был принят с большим почетом тамошними литераторами, он на заставе устроил дело так, чтоб прописаться и попасть в «Московские ведомости» не «коллежским регистратором», каковым был, а «коллежским ассессором». «Это надо...» – говорил он приятелю, его сопровождавшему.

Таким был или по крайней мере таким представлялся нам молодой Гоголь. Великую ошибку сделает тот, кто смещает Гоголя последнего периода с тем, который начинал тогда жизнь в Петербурге, и вздумает прилагать к молодому Гоголю нравственные черты, выработанные гораздо позднее, уже тогда, как свершился важный переворота его существовании. Не скроем, что такого рода смешения попадают в книгу г. Кулиша довольно часто. Можно даже сказать, что он вообще смотрит на Гоголя с конца поприща, – недостаток, который смягчается отчасти содержанием представляемых документов и догадливостию, возбуждаемою ими неминуемо в самом читателе.

Между тем, трудясь за устройством своей жизни и особенно за наполнением ее обильнейшим содержанием, какое возможно было добыть, Гоголь встретил три обстоятельства; подсекшие, так сказать, всю эту деятельность в самой середине ее развития и устремившие его за границу. Мы не намерены искать причин его отъезда за границу в психическом настроении его, потому что, благодаря скрытности Гоголя, это осталось навсегда тайной и всякое заключение тут поражено заранее несостоятельностью. Мы также вполне согласны, что собственные его объяснения как по этому поводу, так и по всем другим, заключающиеся в безыменной записке («Авторская исповедь») и в других автобиографических документах, буквально верны и истинны. Это наше убеждение, почерпнутое из внимательного изучения их; но мы должны сказать, что объяснения Гоголя опираются преимущественно на одну какую-либо поэтическую или моральную черту события, без сомнения ему присущую, но открытую уже гораздо позднее, после долгого размышления о событии. Фактическая, материальная основа происшествия, живое впечатление, произведенное им с первого раза, цепь разнородных ощущений, им вызванных, пропускаются без внимания, как и следует быть в автобиографии, ищущей показать один только нравственный смысл события. Восстановить пропущенные подробности, доискаться первых причин явления, дополнить заметки автобиографии введением всех красок действительности, сообщив, таким образом, плоть и кровь ее

общим указанием, — есть уже дело жизнеописателя. Одна из первых причин, оторвавших Гоголя от Петербурга, был неуспех его университетского преподавания. Гоголь понадеялся на силу поэтического воссоздания истории, на способ толкования событий а priori, на догадку и прозрение живой мысли, но все эти качества, не питаемые постоянно фактами и исследованиями, достали ему на несколько блестящих статей, на несколько блестящих лекций, а потом истощились сами собою, как лампа, лишенная огнепитательного вещества. Падение было горько для человека, возбудившего столько надежд и ожиданий, а вслед за ним последовало то ожесточенное преследование новых его книг, «Миргород» и «Арабески», тогдашней критикой, которое возбудило симпатический отголосок в петербургской публике, почти безусловно покорявшейся журналу, выражавшему ее. Голос Москвы был сначала заглушаем шумом петербургской журналистики, и потребно было мощное, энергическое слово Белинского в «Телескопе», чтоб поддержать автора и ослабить влияние, произведенное многочисленными противниками; но это не могло сделаться скоро. Как ни странно покажется, что к числу причин, ускоривших отъезд Гоголя, мы относим и журнальные толки, но это было так. Мы намекнули прежде о том, что мнением публики Гоголь озабочивался гораздо более, чем мнениями знатоков, друзей и присяжных судей литературы, — черта, общая всем деятелям, имеющим общественное значение, а петербургская публика от-

носила к Гоголю если не вполне враждебно, то по крайней мере подозрительно и недоверчиво. Последний удар нанесен был представлением «Ревизора». Читатель должен хорошо помнить превосходное описание этого театрального вечера, данное самим Гоголем. Хлопотливость автора во время постановки своей пьесы, казавшаяся странной, выходящей из всех обыкновений и даже, как говорили, из всех приличий, горестно оправдалась водевильным характером, сообщенным главному лицу комедии, и пошло-карикатурным, отразившимся в других. Гоголь протрадал весь этот вечер. Мне, свидетелю этого первого представления, позволено будет сказать, что изображала сама зала театра в продолжение четырех часов замечательнейшего спектакля, когда-либо им виденного. Уже после первого акта недоумение было написано на всех лицах (публика была избранная в полном смысле слова), словно никто не знал, как должно думать о картине, только что представленной. Недоумение это возрастало потом с каждым актом. Как будто находя успокоение и одном предположении, что дается фирс, большинство зрителей, выбитое из всех театральных ожиданий и привычек, остановилось на этом предположении с непоколебимой решимостью. Однако же в этом фарсе были черты и явления, исполненные такой жизненной истины, что раза два, особенно в местах, наименее противоречащих тому понятию о комедии вообще, которое сложилось в большинстве зрителей, раздавался общий смех. Совсем другое произошло в

четвертом акте: смех по временам еще перелетал из конца залы в другой, но это был как-то робкий смех, тотчас же и пропадавший; аплодисментов почти совсем не было; зато напряженное внимание, судорожное, усиленное следование за всеми оттенками пьесы, иногда мертвая тишина показывали, что дело, происходившее на сцене, страстно захватывало сердца зрителей. По окончании акта прежнее недоумение уже переродилось почти во всеобщее негодование, которое довершено было пятым актом, Многие вызывали автора потом за то, что написал комедию, другие за то, что виден талант в некоторых сценах, Простая публика – за то, что смеялась, но общий голос, слышавшийся по всем сторонам избранной публики, был: «Это – невозможность, клевета и фарс». По окончании спектакля Гоголь явился к Н. Я. Прокоповичу в раздраженном состоянии духа. Хозяин вздумал поднести ему экземпляр «Ревизора», только что вышедший из печати, со словами:

«Полюбуйтесь на сынку». Гоголь швырнул экземпляр на пол, подошел к столу и, опираясь на него, проговорил задумчиво: «Господи боже! Ну, если бы один, два ругали, ну и бог с ними, а то все, все...»

В начале лета 1836 года Гоголь уехал за границу на пароходе. Он действительно «устал душою и телом», как сам говорит. Шесть лет непрерывного труда, разнообразных предприятий и волнений, даже не принимая в соображение последних тяжелых ударов, нанесенных всем его ожиданиям,

требовали сами собой отдыха. По первым письмам, полученным от него из-за границы, видно, что Гоголь скоро отыскивал покой и ровное настроение духа. Это подтверждается и письмами, напечатанными в г. Кулишом. Известие о смерти Пушкина в 1837 году потрясло Гоголя до глубины души, оставило навсегда незаместимую пустоту в его жизни, но нравственных оснований его нисколько не изменило, по крайней мере письма его, после жарких выражений тоски и боли по невозвратимой общественной и еще более личной для Гоголя утрате, принимают снова характер тихого, спокойного созерцания людей, говорят о заботах, вызываемых плохим состоянием его здоровья, ясно дают подразумевать ровный, размеренный и спокойный труд и во многих местах носят свидетельство, что Гоголь еще наслаждался природой и искусством просто, непосредственно, как человек, продолжающий свободно воспитывать мысль. Пелена известного однообразного цвета еще не распростиралась перед глазами его. Он только вошел в себя, но еще не обратился к самому себе с беспощадно кропотливым анализом; ограничил свою деятельность и установился в ней, но еще не давал ей значения аскетического подвига; сличал жизнь, обычаи, мнения народов и вникал в них, но еще не делался судьей стран и убеждений... Цели чисто человеческие и земные еще мелькали перед ним со всеми очарованиями, какие заключают в себе, и это может показать следующий, неизданный отрывок из общего послания его к приятелям. Оно принадлежит к 1837

году и писано из Парижа 25 января.

«Да скажи, пожалуйста – с какой стати пишете вы все про «Ревизора»? В твоём письме и в письме Пашенка, которое вчера получил Данилевский, говорится, что «Ревизора» играют каждую неделю, театр полон и проч... и чтобы это было доведено до моего сведения. Что это за комедия? Я, право, никак не понимаю этой загадки. Во-первых, я на «Ревизора» – плевать, а во-вторых... к чему это? Если бы это была правда, то хуже на Руси мне никто бы не мог нагадить. Но, слава богу, это ложь: я вижу через каждые три дни русские газеты. Не хотите ли вы из этого сделать что-то вроде побрякушки и тешить меня ею, как ребенка? И ты! Стыдно тебе, – ты предполагал во мне столько мелочного честолюбия! Если и было во мне что-нибудь такое, что могло показаться легко меня знавшему тщеславию, то его уже нет; пространства, которые разделяют меня с тобою, поглотили все то, за что поэт слышит упреки во глубине души своей... Мне страшно вспомнить обо всех моих мараньях. Они вроде грозных обвинителей являются глазам моим. Забвенья, долгого забвенья просит душа. И если бы появилась такая моль, которая бы съела внезапно все экземпляры «Ревизора», а с ним «Арабески», «Вечера» и всю прочую чепуху, и обо мне в течение долгого времени ни печатно, ни изустно не произносил никто ни слова-я бы благодарил судьбу. Одна только слава по смерти (для которой, увы, не сделал я до сих пор ничего) знакома душе неподдельного поэта. А современная

слава не стоит копейки...»

Здесь, конечно, виден шаг вперед, но по одному и тому же направлению. Он только перенес жажду славы с современников на потомство. Если письмо это удивило приятелей, знавших, как всегда дорожил он современным успехом и влиянием на публику, то это была их вина: они не поняли обыкновенного явления, замечаемого у всех гениальных писателей – при начале нового труда смотреть с отвращением на путь, уже пройденный. Гоголь еще мало изменился. Только и 1839 году появляются у него фразы вроде следующей; «Германия есть не что другое, как самая неблаговонная отрыжка гадчайшего табаку и мерзейшего пива». Тут уже сказалось влияние Италии и особенно Рима, в котором он провел весну 1837 и потом почти непрерывно два года (с осени 1837 по осень 1839). Влияние начинает все более усиливаться и проявляется отвращением к европейской цивилизации, склонностью к художническому уединению, сосредоточенностию мысли, поиском за крепким основанием, которое могло бы держать дух в напряженном довольстве одним самим собою. Со всем тем особенности эти, возникающие мало-помалу в характере Гоголя, до такой степени еще слиты с прежним свободным и многосторонним направлением, что указать начало их, первый, так сказать, толчок, подвигнувший ум в эту сторону, нет никакой возможности. Это все равно что желать подсмотреть минуту, когда зарождается болезнь в человеке или уловить мгновение, когда начинается развитие ка-

кой-либо части в организме его. Мало-помалу также Гоголь погружается весь в новый свой труд: «Мертвые души». Если эта поэма по справедливости может назваться памятником его как писателя, то с неменьшей основательностью позволено сказать, что в ней готовил он себе и гробницу как человеку. «Мертвые души» была та подвижническая келья, в которой он бился и страдал до тех пор, пока вынесли его бездыханным из нее. Я постараюсь далее указать связь «Мертвых душ» со всею последующей судьбой их автора, а теперь повторю прежде сказанное, что летом 1841 года, когда я встретил Гоголя, он стоял на рубеже нового направления, принадлежа двум различным мирам. По тайным стремлениям своей мысли он уже относился к строгому, исключительному миру, открывавшемуся впереди; по вкусам, некоторым частным воззрениям и привычкам художественной независимости – к прежнему направлению. Последнее еще преобладало в нем, но он уже доживал сочтенные дни своей молодости, ее стремлений, борьбы, падений и – ее славы!

На третий день моего приезда Рим, по случаю наступления праздников святой недели, отдался весь ликованию. Как в эти дни, так и в предшествовавшие им я почти совсем не видал Гоголя, будучи занят глазеньем на все духовные процессии, которыми наполнился город. Много времени, беготни, стоического равнодушия к своей особе потребно было, чтоб не пропустить какой-либо стороны католицизма, показываемой раз в год. Могу сказать только, что ни один ан-

гличанин не опередил меня ни в чем. Я присутствовал при «омовении ног», которое производил папа в приделе Петра, при угощении им бедных священников в одной из сакристий того же храма, при исполнении Stabat Mater в Сикстинской часовне, при крещении евреев в Латеране одним из кардиналов св. коллегии, при общем покаянии в иезуитской церкви и проч. Гоголь посвящал меня в церемонии и направлял поиски, но сам не выходил из дома и не переменил образа жизни. Великолепна была физиономия города с наступлением праздников. Ковры и ткани покрыли стены домов, петарды трещали с окон, с балконов, из-под ног пешеходов, улицы запестрели окрестным народонаселением, прибывшим к торжеству, в ярких, живописных костюмах и с не менее живописными лицами. В день самого праздника я, как и следовало ожидать, присутствовал при папской литургии и видел, как с высоты балкона св. Петра, окруженный кардиналами, папа дал благословение народу и отпустил ему грехи. Вечером того же дня мы ходили с Гоголем и двумя русскими художниками по площади собора, любуясь на чудное освещение его купола и перемену огней, внезапно производимую в известный час. Купол горел тихо, ровно в мрачной синеве неба, посреди чудной, теплой весенней ночи, под шепот водопадов соборной площади, под говор народа, двигавшегося во всех направлениях. Тут положено было, между прочим, что я перейду в комнату Панова тотчас, как он уедет в Берлин, и, сделавшись близким соседом Гоголя, посвящу один

час каждого дня на переписку, под его диктовку, уже совсем изготовленной первой части «Мертвых душ».

II

Поселившись рядом с Гоголем, в комнате, двери которой почти всегда были отворены, я связан был с Николаем Васильевичем только одним часом дня, когда занимался перепиской «Мертвых душ». Остальное время мы жили розно и каждый по-своему. Правда, в течение дня сталкивались мы друг у друга довольно часто, а вечера обыкновенно проводили вместе, но важно было то, что между нами существовало молчаливое условие не давать чувствовать себя товарищу ни под каким видом. Гоголь вообще любил те отношения между людьми, где нет никаких связующих прав и (обязательств, где от него ничего не требовали. Он тогда только и давал что-либо от себя. В Риме система эта, предоставив каждому полную свободу действий, поставила каждого в нравственную независимость, которою он всего более дорожил.

Гоголь вставал обыкновенно очень рано и тотчас принимался за работу. На письменном его бюро стоял уже графин с холодной водой из каскада Терни, и в промежутках работы он опорожнял его дочиста, а иногда и удваивал порцию. Это была одна из подробностей того длинного процесса самолечения, которому он следовал всю свою жизнь. Он имел даже особенный взгляд на свой организм и весьма серьезно

говорил, что устроен совсем иначе, чем другие люди и, если не обманывает меня память, с каким-то извращенным желудком. Я относился тогда несколько скептически к его жалобам на свои немощи и помню, что Гоголь возражал мне с досадой и настойчиво. «Вы этого не можете понять, – говорил он, – это так: я себя знаю». При наступившем вскоре римском зное Гоголь довольно часто жаловался на особенное свойство болезненной своей природы – никогда не подвергаться испарине. «Я горю, но не потею», – говорил он. Все это не мешало ему следовать вполне своим обыкновенным привычкам. Почти каждое утро заставал я его в кофейной *Del buon gusto* отдыхающим на диване после завтрака, состоявшего из доброй чашки крепкого кофе и жирных сливок, за которые почасти происходили у него ссоры с прислужниками кофейни: яркий румянец пылал на его щеках, и глаза светились необыкновенно. Затем отправлялись мы в разные стороны до условного часа, когда положено было сходиться домой для переписки поэмы. Тогда Гоголь крепче притворял внутренние ставни окон от неотразимого южного солнца, я садился за круглый стол, а Николай Васильевич, разложив перед собой тетрадку на том же столе подальше, весь уходил в нее и начинал диктовать мерно, торжественно, с таким чувством и полнотой выражения, что главы первого тома «Мертвых душ» приобрели в моей памяти особенный колорит. Это было похоже на спокойное, правильно разлитое вдохновение, какое порождается обыкновенно глубо-

ким созерцанием предмета. Николай Васильевич ждал терпеливо моего последнего слова и продолжал новый период тем же голосом, проникнутым сосредоточенным чувством и мыслию. Превосходный тон этой поэтической диктовки был так истинен в самом себе, что не мог быть ничем ослаблен или изменен. Часто рев итальянского осла пронзительно раздавался в комнате, затем слышался удар палки по бокам его и сердитый вскрик женщины: «Ессо, ladrone!»²¹ Гоголь останавливался, проговаривал, улыбаясь:

«Как разнежился, негодяй!» – и снова начинал вторую половину фразы с той же силой и крепостью, с какой вылилась у него ее первая половина. Случалось также, что он прекращал диктовку на моих орфографических заметках, обсуживал дело и, как будто не было ни малейшего перерыва в течении его мыслей, возвращался свободно к своему тону, к своей поэтической ноте. Помню, например, что, передавая ему написанную фразу, я вместо продиктованного им слова «щекатурка» – употребил «штукатурка». Гоголь остановился и спросил: «Отчего так?» – «Да правильнее, кажется». Гоголь побежал к книжным шкафам своим, вынул оттуда какой-то лексикон, приискал немецкий корень слова, русскую его передачу и, тщателью обследовав все доводы, закрыл книгу и поставил опять на место, сказав: «А за науку спасибо». Затем он сел по-прежнему в кресло, помолчал немного, и снова полилась та же звучная, по-видимому простая, но возвышен-

²¹ Вот тебе, разбойник!

ная и волнующая речь. Случалось также, что прежде исполнения моей обязанности переписчика я в некоторых местах опрокидывался назад и разражался хохотом. Гоголь глядел на меня хладнокровно, но ласково улыбался и только проговаривал: «Старайтесь не смеяться, Жюль». Действительно, я знал, что переписка замедляется подобным выражением личных моих ощущений, и делал усилия над самим собой, но в те годы усилия эти редко сопровождались успехом. Впрочем, сам Гоголь иногда следовал моему примеру и вторил мне при случае каким-то сдержанным полусмехом, если могу так выразиться. Это случилось, например, после окончания «Повести о капитане Копейкине, первая редакция которой, далеко превосходящая и силе и развитию напечатанную, только недавно сделалась известна публике. Когда, по окончании повести, я отдался неудержимому порыву веселости, Гоголь смеялся вместе со мною и несколько раз спрашивал:

«Какова повесть о капитане Копейкине?»

«Но увидит ли она печать когда-нибудь?» – заметил я. Печать пустяки, – отвечал Гоголь с самоуверенностью, – все будет в печати». Еще гораздо сильнее выразилось чувство авторского самодовольствия в главе, где описывается сад Плюшкина. Никогда еще пафос диктовки, помню, не достигал такой высоты в Гоголе, сохраняя всю художническую естественность, как в этом месте. Гоголь даже встал с кресел (видно было, что природа, им описываемая, носится в эту

минуту перед глазами его) и сопровождал диктовку гордым, каким-то повелительным жестом. По окончании всей этой изумительной VI главы я был в волнении и, положив перо на стол, сказал откровенно: «Я считаю эту главу, Николай Васильевич, гениальной вещью». Гоголь крепко сжал маленькую тетрадку, по которой диктовал, в кольцо и произнес тонким, едва слышным голосом: «Поверьте, что и другие не хуже ее». В ту же минуту однако ж, возвысив голос, он продолжал: «Знаете ли что, нам до сенаге (ужина) осталось еще много: пойдемте смотреть сады Саллюстия, которых вы еще не видали, да и в виллу Людовизи постучимся». По светлому выражению его лица, да и по самому предложению видно было, что впечатления диктовки привели его в веселое состояние духа. Это оказалось еще более на дороге. Гоголь взял с собой зонтик на всякий случай, и как только повернули мы налево от дворца Барберини в глухой переулок, он принялся петь разгульную Малороссийскую песню, наконец пустился просто в пляс и стал вывертывать зонтиком на воздухе такие штуки, что не далее двух минут ручка зонтика осталась у него в руках, а остальное полетело в сторону. Он быстро поднял отломленную часть и продолжал песню. Так отозвалось удовлетворенное художническое чувство: Гоголь праздновал мир с самим собою, и в значении этого бурного порыва веселости, который вполне напомнил мне старого Гоголя, я не ошибся и тогда. В виллу Людовизи нас, однако ж, не пустили, как Гоголь ни стучал в безответные две-

ри ее ворот; решетчатые ворота садов Саллюстия были тоже крепко замкнуты, так как время сиесты ((итал.-siesta) – часы дневного отдыха.) и всеобщего бездействия в городе еще не миновалось. Мы прошли далее за город, остановились у первой локанды (итал. – locanda) – харчевня), выпили по стакану местного слабого вина и возвратились в город к вечернему обеду в знаменитой тогда австерии «Фалконе» («Сокол»).

Важное значение города Рима в жизни Гоголя еще не вполне исследовано. Памятником и свидетельством его воззрения на папскую столицу времен Григория XVI может служить превосходная его статья «Рим», в которой должно удивляться не завязке или характерам (их почти и нет), а чудному противопоставлению двух народностей, французской и итальянской, где Гоголь явился столь же глубоким этнографом, сколько и великим живописцем-поэтом. Сущность его воззрения на Рим излагать нет надобности, так как статья Гоголя хорошо известна всем русским читателям; но следует сказать, что под воззрение свое на Рим Гоголь начинал подводить в эту эпоху и свои суждения вообще о предметах нравственного свойства, свой образ мыслей и, наконец, жизнь свою. Так, взлелеянный уединением Рима, он весь предался творчеству и перестал читать и заботиться о том, что делается в остальной Европе. Он сам говорил, что в известные эпохи одна хорошая книга достаточна для наполнения всей жизни человека. В Риме он только перечитывал любимые места из Данте, «Илиады» Гнедича и стихотворе-

ний Пушкина. Это было совершенно вровень, так сказать, с городом, который, под управлением папы Григория XVI, обращен был официально и формально только к прошлому. Добродушный пастырь этот, так ласково улыбавшийся народу при церемониальных поездках и с такою любовью благословлявший его, умел остановить все новые почки европейской образованности и европейских стремлений, завязавшиеся в его пастве, и когда умер, они еще поражены были онемением. О том, какими средствами достиг он своей цели, никто из иностранцев не спрашивал: это составляло домашнюю тайну римлян, до которой никому особенного дела не было. Гоголь, вероятно, знал ее: это видно даже по намекам в его статье, где мнение народа о господствующем клерикальном сословии нисколько не скрыто; но она не тревожила его, потому что если не оправдывалась, то по крайней мере объяснялась воззрением на Рим. Вот собственные его слова из статьи: «Самое духовное правительство, этот странный, уцелевший призрак минувших времен, осталось как будто для того, чтобы сохранить парод от постороннего влияния... чтобы до времени, в тишине таилась его гордая народность». Последующие события доказали, что народ не был сохранен от постороннего влияния, и подтвердили убедительным образом старую истину, что государство, находящееся в Европе, не может убежать от Европы. Оказалось и оказывается с каждым днем более, что Рим никогда не находился в таком уединении и в таком сиротстве, какие признаны были за ним на-

блюда-телями. Необычайными мерами, еще в некоторой степени продолжающимися и теперь, с него была снята только работа, требуемая временем и его необходимостями: и благодаря этому обстоятельству народ предался одним природным своим наклонностям, артистическому веселью, остроумной беспечности и столь свойственному ему художническому творчеству. Сильное развитие этой стороны его характера заставило предполагать, что в ней и вся жизнь Рима, но колесо европейской истории не может миновать ни одного уголка нашей части света и неизбежно захватывает людей, как бы ни сторонились они. Стремление римского населения сделаться причастником общих благ просвещения и развития признается теперь законным почти всеми; но оно жило во многих сердцах и тогда. Гоголь знал это, но встречал явление с некоторой грустью. Помню, раз на мое замечание, «что, вероятно, в самом Риме есть люди, которые иначе смотрят на него, чем мы с ним», – Гоголь отвечал почти со вздохом: «Ах, да, батюшка, есть, есть такие». Далее он не продолжал. Видно было, что утрата некоторых старых обычаев, прозреваемая им в будущем и почти неизбежная при новых стремлениях, поражала его неприятным образом. Он был влюблен, смею сказать, в свое воззрение на Рим, да тут же действовал отчасти и малороссийский элемент, всегда охотно обращенный к тому, что носит печать стародавнего или его напоминает. Зато уж и Францию, которую считал родоначальницей легкомысленного презрения к поэзии прошлого,

начинал он ненавидеть от всей души. О французском владычестве в Риме, в эпоху первой империи, когда действительно сподвижники Наполеона I, вместе с истреблением суеверия, принялись истреблять и коренные начала народного характера, Николай Васильевич отзывался после с негодованием. Он много говорил дельного и умного о всесветных преобразователях, не умеющих отличать жизненных особенностей, никогда не уступаемых народом, от тех, с которыми он может расстаться, не уничтожая себя как народ, но упускал из вида заслуги всей истории Франции перед общим европейским образованием. Впрочем, твердого, невозвратного приговора как в этом случае, так и во всех других, еще не было у Гоголя: он пришел к нему позднее. Он тогда еще составлял его и потому довольно часто оглядывался на свои мысли и проверял их на противоположных взглядах и на противоречии, он шел только к тому решительному приговору, который с такой силой раздался пять лет спустя в литературе нашей. Для подтверждения наших слов приведем один мало-важный случай: кроме мало-важных случаев, никаких других между нами и быть не могло, но именно потому, может быть, все случаи, касающиеся Гоголя, имели почти всегда значительную физиономию и сохранили в памяти моей точное выражение. Однажды за обедом, в присутствии А. А. Иванова, разговор наш нечаянно попал на предмет, всегда вызывавший споры: речь зашла именно о пустоте всех задач, поставляемых французами в жизни, искусстве и философии.

Гоголь говорил резко, деспотически, отрывисто. Ради честности, необходимой даже в застольной беседе, я принужден был невольно указать на несколько фактов, значение и важность которых для цивилизации вообще признаваемы всеми. Гоголь отвечал горячо и тем, вероятно, поднял тон моего возражения; однако ж спор тотчас же упал в одно время с обеих сторон, как только сделалась ощутительна в нем некоторая степень напряжения. Молча вышли мы из австерии, но после немногих задумчивых шагов Гоголь подбежал к первой лавочке лимонадчика, раскинутой на улице, каких много бывает в Риме, выбрал два апельсина и, возвратясь к нам, подал с серьезной миной один из них мне. Апельсин этот меня тронул: он делался, так сказать, формулой, посредством которой Гоголь выразил внутреннюю потребность некоторого рода уступки и примирения.

Вообще следует помнить, что в эту эпоху он был занят внутренней работой, которая началась для него со второго тома «Мертвых душ», тогда же им предпринятого, как я могу утверждать положительно. Значение этой работы ни— кем еще не понималось вокруг него, и только впоследствии можно было разобрать, что для второго тома «Мертвых душ» начинал он сводить к одному общему выражению как свою жизнь, образ мыслей, нравственное направление, так и самый взгляд на дух и свойство русского общества. Результаты этих изысканий и трудов над самим собой и над духовным бытом нашего общества публике известны, и мы покамест

их не судим: мы голько повторяем, что с подобными эпохами поворотов мысли и направления неизбежно связано колебание воли и суждения, как это и было здесь. Он осматривал и взвешивал явления, готовясь оторваться от одних и пристроиться к другим. Так, например, долго, с великим вниманием и с великим участием слушал он горячие повествования о России, заносимые в Рим приезжими, но ничего не говорил в ответ, оставляя последнее слово и решение для самого себя. Отсюда также и те длинные часы немого созерцания, какому предавался он в Риме. На даче княгини З. Волконской, упиравшейся в старый римский водопровод, который служил ей террасой, он ложился спиной на аркаду тогатых, как называл древних римлян, и по полусуткам смотрел в голубое небо, на мертвую и великолепную римскую Кампанию. Так точно было и в Тиволи, в густой растительности, окружающей его каскателли²², он садился где-нибудь в чаще, упирал зоркие, недвижные глаза в темную зелень, купами сбегавшую по скалам, и оставался недвижим целые часы, с воспаленными щеками. Раз после вечера, проведенного с одним знакомым живописца Овербека, рассказывавшим о попытках этого мастера воскресить простоту, ясность, скромное и набожное созерцание живописцев дорафаэлевой эпохи, мы возвращались домой, и я был удивлен, когда Гоголь, внимательно и напряженно слушавший рассказ, заметил в раздумье: «Подобная мысль могла только явиться в голове немец-

²² водопады (итал.)

кого педанта». Так еще никому, собственно, не принадлежал он, и выход из этого душевного состояния явился уже после отъезда моего из Рима. Я застал предуготовительный процесс: борьбу, нерешительность, томительную муку соображений. Письма от этой эпохи, собранные г. Кулишем, уже вполне показывают, куда стремилась его мысль, но письма эти, как магнитная стрелка, обращены к одной неизменной точке, а сам корабль прибегал ко многим уклонениям и обходам, прежде чем вышел на твердый и определенный путь.

Одна только сторона в Гоголе не потерпела ничего и оставалась во всей своей целости – именно художническое его чувство. Гоголь не только без усталости любовался тогдашним Римом, но и увлекал неудержимо всех к тому же поклонению чудесам его. Официальные католические праздники пасхи, на которых, по стечению иностранцев, присутствует чуть ли не более насмешливых, чем верующих глаз, уже давно миновались. Значительная часть туристов разъехалась, и настоящий туземный Рим выступил один для новых духовных праздников, совпадающих с летними месяцами. Здесь, в виду итальянского народа, Гоголь не чуждался толпы. Он предупреждал меня о дне вознесения, когда папа дает благословение полям Рима с высоты балкона Иоанна Латеранского, – и зрелище, на котором мы присутствовали в тот день, было не ниже наших ожиданий. Летнее солнце Италии осветило старые стены Рима, задернув голубой, прозрачной пеленой далекие альбанские горы. Ближе к нам и в самую минуту

благословения оно ударило нестерпимо ярко на белые головные платки коленопреклоненных женщин, на широкие соломенные шляпы мужчин, на разноцветные перья войска, тоже преклонившего колено, на красные мантии кардиналов — и произвело картину ослепительного блеска и вместе превосходной перспективы. Затем наступили торжества *Congrus Domini*. В семь часов вечера, перед *Ave Maria*, при самом начале вечерних прогулок наших, мы непременно встречали духовную процессию, импровизированный алтарь на углу улицы, аббата под балдахином с дарохранильницей, которою после краткой молитвы он благословлял падающий ниц народ. Вечернее солнце играло опять главную роль в картине, обливая пурпуром знамена, огромные полотна с фигурами святых, кресты разных величин, фонари, рясы нищенствующих монахов и загорелые лица итальянцев, пылавшие несколько мгновений неизобразимо ярким и теплым светом. О цветочных коврах Дженсано, раскладываемых по пути таких же процессий и составляющих подвижной рисунок с изображениями кардинальских гербов, арабесок, узоров из листьев и лепестков растений, Гоголь упоминает сам в статье о Риме. Николай Васильевич был неутомим в подметке различных особенностей этого народного творчества, которое окружало тогда духовные торжества, но могло существовать и помимо их. Так, очевидцы происшествий 1848–1849 годов рассказывают об удивительных триумфальных арках, строимых в одну ночь неизвестными архитекторами, да и в

мое время, как справедливо заметил Гоголь, любая лавочка лимонадчика на площади заслуживала изучения по рисунку украшений из зелени, винограда и лавра. Как велико было уважение Гоголя ко всякому проявлению самородной фантазии или даже сноровки, покажет следующий пример. В одной из кофейных он заметил, что стены и потолок ее покрыты сеткой из полосок бумаги, перегнутых надвое и приставленных к штукатурке. Узнав, что этим способом придумано сохранять заведения от порчи мух, гуляющих преимущественно по внешней стороне клеток, Гоголь долго рассматривал это хозяйственное изобретение и наконец воскликнул с чувством: «И этих-то людей называют маленьким народом!» Сметливость и остроумие в народе были для него признаками, свидетельствующими даже об историческом его призвании. Несколько раз повторял он мне, что нынешние римляне, без сомнения, гораздо выше суровых праотцев своих и что последние никогда не знали того неистощимого веселия, той добродушной любезности, какие отличают современных обитателей города. Он приводил в пример случай, им самим подсмотренный. Два молодых водоноса, поставив ушат на землю, принялись с глазу на глаз смешить друг друга уморительными анекдотами и остротами. «Я целый час подсматривал за ними из окна, – говорил Гоголь, – и конца не дождался. Смех не умолкал, прозвища, насмешки и рассказы так и летели, и ничего водевильного тут не было; только сердечное веселие да потребность

поделиться друг с другом обилием жизни». Гоголь был не прочь и от сильных, необузданных страстей, которые затемняют иногда сердце и ум этих любезных людей. Все естественное, самородное, уже по одному этому имело право на его уважение. Вот какой анекдот рассказывал он юмористически, но не без удовольствия. В его глазах один мальчишка пустил чем-то в другого, проходившего мимо, и, чувствуя, вероятно, важность ответственности за поступок, тотчас же шмыгнул в двери близлежащего дома, которые и припер за собою. Обиженный ребенок кинулся к дверям, старался выломать их и, видя невозможность одолеть преграду, стал вызывать оскорбителя на личную расправу. Ответа никакого, разумеется, не последовало; ребенок истощался в бранных эпитетах, в самых ядовитых прозвищах и в ругательствах и не слышал ни малейшего отзыва. Тогда он лег у порога двери и зарыдал от ярости, но и слезы не истощили жажду мщения, которая кипела в этой детской груди. Он встал опять на ноги и принялся умолять своего врага хоть подойти к окну, чтоб дать посмотреть на себя, обещая ему за одно это прощение и дружбу... Но, оставляя в стороне анекдоты, скажем, что уважение Гоголя к проблескам цельной и свежей натуры не ограничивалось одними людскими характерами: он и создания искусства ценил еще тогда по признакам силы, обнимающей сразу предмет, и чем менее заметно было в произведении искания, пробования и щупанья, тем более оно ему нравилось, но он простирали иногда определения свои

до парадокса. Так, к великому соблазну А. А. Иванова, он объявил однажды, что известная пушкинская «Сцена из Фауста» выше всего «Фауста» Гете, вместе взятого. Не должно думать однако ж, чтоб наслаждение Римом и людьми его сделало самого Гоголя слабым и мягкосердечным: напротив, он обращался весьма строго с последними – и это по принципу. Притворная суровость его была тут противодействием римской сметливости, народного расположения к сарказму и природной беспечности итальянца. Он был взыскателен, и надо было видеть, как важно примеривал он новые башмаки, сшитые ему молодым парнем с блестящими черными глазами и лукавой улыбкой. Он его почти измучил осмотром и потом говорил мне, смеясь: «Иначе и нельзя с этим народом; чуть оплошай – заговорит тебя. Подсунет мерзость, поставит перед собой башмак, отступит шаг назад и начнет: «О, что за чудная cosa! О, какая дивная вещица! Никакой племянник папы не носил такого башмака. Посмотрите, синьор, какая форма каблука! Можно влюбиться до безумия в такую вещь» и так далее». Придирчивость Гоголя была лицемерна уже и потому, что он никогда не сердился на те обыкновенные итальянские надувательства, которым, несмотря на всю свою строгость и сноровку, подвергался не раз. Так, вздумав сделать прогулку за город в обыкновенном нашем обществе, мы подрядили ветурина, дали ему задаток и назначили час отъезда. Но час прошел, а ветурин не являлся, употребив, вероятно, задаток на неотлагательные свои нужды и забыв

о поручении. Все присутствующие оказывали ясные знаки нетерпения и громко выражали негодование свое, исключая Гоголя, который оставался совершенно равнодушен, а когда один из общества заметил, что подобной штуки никогда бы не могло случиться в Германии: там-де никто своего не даст и чужого не возьмет, – то Гоголь отвечал с досадой и презрением: «Да, но это только в картах хорошо!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.